

ИВАН РУКАВИШНИКОВ

Волжский
роман



Проклятый род

Волжский роман

Иван Рукавишников

Проклятый род

«ВЕЧЕ»

1912

Рукавишников И. С.

Проклятый род / И. С. Рукавишников — «ВЕЧЕ»,
1912 — (Волжский роман)

ISBN 978-5-4484-7370-8

Роман-трилогия Ивана Сергеевича Рукавишникова (1877–1930) – это история трех поколений нижегородского купечества, из которого вышел и сам автор. На рубеже XIX–XX веков крупный торгово-промышленный капитал России заявил о себе во весь голос, и казалось, что ему принадлежит будущее. Поэтому изображенные в романе «денежные тузы» со всеми их стремлениями, страстями, слабостями, традициями, мечтами и по сей день вызывают немалый интерес. Роман практически не издавался в советское время. В связи с гонениями на литературу, выходящую за рамки соцреализма, его изъяли из библиотек, но интерес к нему не ослабевал. При значительной исторической и социальной ценности, своеобразии языка и стиля, он до сих пор является библиографической редкостью.

ISBN 978-5-4484-7370-8

© Рукавишников И. С., 1912

© ВЕЧЕ, 1912

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СЕМЬЯ ЖЕЛЕЗНОГО СТАРИКА	6
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. МАКАРОВИЧИ	86
Конец ознакомительного фрагмента.	97

Иван Рукавишников

Проклятый род

© ООО «Издательство «Вече», 2018

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2018

Сайт издательства www.veche.ru

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СЕМЬЯ ЖЕЛЕЗНОГО СТАРИКА

I

Тихо, прилично, от дряхлости и болезней умирал длинный, чуть сутуловатый старик. Бритое лицо его злобно сверх меры. Только старик знает, что скоро-скоро умрет. Бродит он по дому, присаживается на стулья, иногда приляжет на диван. Мешает ему длинный старый сюртук, мешают высокий галстук и даже теплые сапоги.

Приказчик снизу из конторы пришел. Векселя должников. Скоро срок. Письма к подписи.

– В кабинет! На стол положи.

Отнес приказчик. Опять у двери встал. Про что-то нужно спрашивает.

– Потом! Потом! Перед чаем в контору сойду.

И рукой махнул. Умирает железный старик. И люди противны ему. К окну подошел. Вся Торговая подводами запружена. Мужики неистово гремят. Железо в стариковы балаганы складывают.

– А! Балахнинские...

Хотел что-то в форточку крикнуть. Привычка. Но не крикнул. На улицу так загляделся.

– Ишь, ведь... Умирать время подошло.

Глухо сказал. А за миг не знал, что скажет. Думы молчаливых, грузных дней сказали.

Еще тяжелее стало старику. Злоба-жаба на сердце вспухла и пожелтила бритое лицо и длинные сухие пальцы.

За окном стариково железо гремит, и Божья весна тихо веселится. Пора-то какая. Через неделю-другую Волга вскроется. До Каспия рукой подать. Урал тоже. А Кама! Ока! Закипит. Везде дела.

– Балбесы, верно, на реку глазеют. Вздудась, слышно, Волга. Закраины ломает.

О, как кипела злоба, жабий яд, во всех жилах старика, когда он кричал, не подходя к дверям, так, всюду кругом себя:

– Семен! Макар! Сюда! Кто там есть...

Открылась дверь. Супруга, большая, рыхлая, старая – не старая, важно испуганное лицо показала.

– Что?

– Не слышно, что ли, кого зовут.

– Сейчас они...

И скрылась. А вместо нее в дверях Семен стоит.

Старший сын старика в синем коротком пиджачке, с розовым галстучком на худой шее, прилично-робкий, в кого-то влюбленный, приглаживает напomaженные жидкие волосы.

– Семен. Как шереметевское нынче?

– На четыре копейки ниже прошлой недели.

– А строгановское?

– Без перемены, папаша.

– Ты про листовое?

– Про листовое, папаша.

Остро глядит отец в сына. Желтизна с лица спала.

– Ивана Данилыча векселя все переписать. К ярмарке принорови. На столе там. А вот с этим, с Васюковым, что делать?

Молчит сын. Ждет. Думает – не к нему.

– С Васюковым, говорю, как? Ну?

– Как угодно, папаша.

– Знаю. А по-твоему, как?

– Как угодно, папаша. Только и у Васюковых заминки нет. А вчера сам сына посылал. Тоже до ярмарки просил.

– Нельзя. К ярмарке банкрот будет. Слыхал, во сколько он лавки застраховал? А безо времени в Питер к чему летал? Знаем, нельзя Васюкову.

И опять пожелтело лицо старика бритое, с крючковатым носом, с сухими губами. И под седыми на виски заческами проступил пот.

Помолчали. Впустили в комнату, в трехоконную светлую залу, громы железа и солнечные звоночки весны. И отразилась Божья весна милой забывчивостью в глазах Семена. И грохот подземных сил железа отозвался злобным дрожанием рук Семенова отца.

– В Саратове думаю склады к осени открыть.

Старик сказал. И два глаза его стали, как две сотни крысиных глаз.

– Как угодно, папаша.

Как тяжело дышал хитрый старик. Злоба-жаба восемью лапами сердце охватила. Всю кровь выпила. Желчь по телу пустила.

Старшего к делу кое-как удалось приставить. Семеро сыновей. Семеро. Как уйдешь? Как оставишь? Балбесы. Семеро. Этот вот что знает? А он один хочет узнать. Малыми мозгами хочет дело охватить. Да и хочет ли?

Обе сотни крысиных глаз спрятались под веки старика. Злой, но лень. Злой, но подумать надо. Смерть ли, дрема ли, жизнь ли настоящая.

Видит старик: в светлой зале его, из-за дивана угольного ручей оказался. Бьет ключ-ручей в паркет. А вместо паркета – зеленая земля. И ширится ручей. И сердится. И вот не ручей то, а Волга. А зеленая земля – Россия. Или весь Божий мир. Ведь это одно и то же. А залы уже нет. Семен? Но он вместе с ними на барке. С ними. Со всеми. Семеро. Плывут. И буксира нет. И паруса нет. А! Вниз плывут... Зачем барка вниз порожнем?

«Сынов везу твоих».

– Куда? Стой!

– Что, папаша?

Рукой махнул старик. Не надо ему Семена. Их семеро. Все они один другого стоят. Старший к делу приучен. А что в нем? Может те подрастут, умнее еще станут. А он-то? Семен-то?

И опять вместо залы трехоконной – широкая, как Волга, река. А барка с сыновьями тонет. Тонет в синей-синей воде.

И мог бы старик закричать. Но он не хочет кричать.

И плыла барка вниз по реке. И везла стариковых сыновей. И потонула барка. То видел старик. И когда он увидел все это, он не огорчился, но захотел досмотреть сон ли, видение ли. И видел старик в светлой зале, переставшей быть залой, синюю-синюю реку. И когда утонули в ней все семеро сыновей его, он, успокоенный приговором чужого суда, сказал:

– Ну?

Семена уже не было у дверей.

Старику захотелось кричать. И он закричал, захватив левой рукой все, что было на груди его: и край сюртука, и жилетку, и сорочку.

Ночью железный старик лежал не мертвый, не живой. Немец тормошил его, хотел продлить старикову жизнь.

Упрямый старик хотел сказать:

– Прочь!

Но ничего не сказал. И умер.

II

Так же грохотала Торговая, когда вдова, проплавав ночь, коленопреклонялась перед утренне-вставшим гробом.

И семь сыновей ее стояли позади нее.

Семь сыновей и две дочери: Любовь и Анна.

Потекли торжественно гудящие и звенящие часы – дни отпевания, перенесения, отдания земле. И часы эти были то кратки и легки, как миги, то тяжелы и тягучи, как скучные годы.

Новые шумы и новая тишина. Новые люди и новые думы.

Нарушился чин крепкого кирпичного дома. И по-новому звенело солнце по стеклам фасадных окон. И по-новому шуршала ночь в мебели и в обоях чутко неспящих комнат.

III

И вот кончилось. Перегорел бунт смерти. И стало опять чинно. Но новым чином чинно.

Ворвался колдун-великан в кирпичный дом на Торговой. И вырвал колдун железное сердце дома. Вырвал, поохотал и унес сердце куда-то. И стало легче дому без железных ударов сердца. Явно легче. Но неосознанно, от себя и других втайне, каждый стул и шкаф, и каждый человек дома бормотал:

– Я что же? Я отдельно! Я сам по себе!

И передвигались тяжелые стулья, и подолгу стояли, посмеиваясь, не на своих местах. Вспомнит кто-нибудь, застыдится и переставит. Бессмысленно белели бумагами разбаловавшиеся шкафы красного дерева. И подолгу стояли, ленивые, с открытыми ртами. Заметит кто-нибудь, разгневается, захлопнет, ключом припрет и выругается.

– Что же это в самом деле за беспорядок за такой!

И люди ходили не туда, куда нужно было дому для его железных дел. А если и туда, то не в те часы. Нужно собраться вместе, а они врозь. А когда нужно врозь, по своим делам, они вместе, и не о том говорят, о чем нужно. Но вдруг все разом вспомнят, застыдятся и опять налаживают на старое.

Так умирала старая совесть дома.

IV

Раньше всех опомнился старший приказчик, доверенный, Рожнов. Желто-белые седины его привычной старости примаслились, пригладились и предстали пред Семеном. Почтительно-суровую беседу повел старик. Он часто улыбался беззубым ртом. И то была улыбка тихой гордости от сознания переходящей к нему власти.

«Не умели юнцы вовремя к делу приглядеться. Ну а теперь без меня ни тпру, ни ну. От старика к старику, значит. От папашеньки-то к приказчику. Так-то».

И заперты были двери. И горели свечи. И выдвигались ящики, и открывались шкафы.

И без конца шелестела бумага в мягких руках желтого старика Рожнова. А по-новому испуганный Семен кивал головой и, принуждая себя постичь непостижимое, стучал пальцем в крышку стола.

И текли часы. И для Семена под конец они стали мутно-желтой рекой, точь в точь такой, какая вливалась ему и в рот, и в глаза, и в уши в часы бесконечных уроков в московской немецкой гимназии. Той гимназии, из которой однажды писал он письмо отцу: «...*Делайте со мной что хотите, папаша, а больше я здесь не могу*».

И вот теперь в кабинете покойного отца льется та же мутно-желтая река страха и скуки. Кончил желтый старик. Встал. Кресло отодвинул.

– А вы попомните, что мною нынче говорено было. И папашенька неоднократно наказывали в случае чего наставлять вас. В делах то есть. А засим, спокойной ночи. Мне пора-с. И низкий поклон. И зашаркали мягкие сапоги.

V

В ту ночь опять не спал Семен.

– После смерти отца, после того как унесено было колдуном железное сердце, в доме зародились духи – не духи, зверье – не зверье. То видимые, то слышимые силы. На Семена накидывались они то в образе женщины, то в образе смертного страха.

Женщина внезапно выходила из двери или даже из стены. Или уже нагая, или как принцесса одетая и потом раздевалась. Всегда прельщающая, различной красотой красивая, она была то как настоящая женщина, то как кукла маленькая. За обедом, вскочив на стол и спрятавшись за стакан, она была не больше булавки. Вероятно, илией, или Семену было стыдно братьев, сестер, матери его. А ночью, всегда большая, пышная, подчас она расплывалась розовым облаком на всю комнату. И тогда они оба дрожали частой дрожью, пропитавшиеся друг другом.

Семену было 27 лет. К этому сроку он еще не знал женщины. Он был слаб. Ни мужчина, ни мальчик, он робел до дрожи и до холодного пота. И слабость, и робость гнали его от живых женщин. В мечтах он рвался к ним и говорил им ласковые слова.

И вот, по смерти отца, поселилась в доме нагая прельстительница и манила, кликала его: – Сёма! Сёма!

А то вдруг увертывалась-смеялась:

– А вот не дамся.

Такова была Сёмина женщина в доме на Торговой.

Но там же зародился его смертный страх. То не было привидение, не был верящий в себя дух. То был гроб, а в гробу человек. Человек, который ранее все мог, и вот – ничего не может. Вдруг откуда-то всплывал тихий гроб. И не гроб был страшен и не человек в нем, а то, что это так просто, и что, видя это, невозможно было верить в слова молитв, которые ранее, всегда ранее, были бесспорны. Все было. И вдруг ничего не стало. Может быть, вспоминался отец, лежащий в гробе. Может быть, полуосознанно-диким казался переход от величия железного грома на подводах и таинственного шелеста бумаг к величию Царства Небесного. Страх был такой простой, языческий. И даже страх греха такого страха не заглушал его.

Была вечность или недуманье, незнание, и вот надвинулась пустота.

Церковь и ее огни, и ее священники – это одно, и это – правда. А гроб и в нем мертвый человек – это другое, другая правда.

И приплывал к Семену парчовый гроб. И в гробу лежал незнаемый человек. И становилось тоскливо-страшно и пусто. И все ненужно. И холодно-холодно.

И тогда, подчас, пели-кричали слова ненужных молитв. И спокойные чужие люди вставляли в страшные строки имя: Семен.

И всплывал в комнаты гроб. И входила-влетала в комнаты прельщающая женщина. То тот, то та... И Семен гнал прочь думу о гробе, холодея от предчувствия ее, и трепетно любил приходы женщины, и, когда ее не было, скучая, звал ее. Но и женщина, и гроб появлялись одинаково часто в доме, из которого ушел железный хозяин его.

В ту ночь опять не спал Семен. Лампадно-тихая ночь грела двухоконную низкую комнату верхнего этажа. Только что ушла нагая женщина. Ушла-растаяла.

Смотрит Семен круглыми бездумными глазами. А перед ним, у той стены, спят братья его: Макар и Доримедонт. Холодный пот томит Семена. И то пытается он уснуть, то, когда безнадежность этого желания ломит голову, пытается думать о железных делах, смутно шепчущих ему неведомые тайны.

Томится в ночи Семен. Слушает бормотанье Доримедонта. На деревянной складной койке спит Доримедонт. Ворочается.

Поскрипывает койка. Смутное снится Доримедонту. Доримедонт живет, чтобы, дождавшись ночи, уснуть. А спит, чтобы видеть сны. Боясь людей, не понимая жизни, взглядом мышонка смотрит он в расписные своды своих мечтаний. А мечтания его такие смутные, что только во сне им место. Скучная, строгая явь жизни и солнца убивает их. И день стыдит Доримедонта своей деловитой суетой. Смерть отца ничего не дала, ничего не взяла. Нет. Стало немного менее страшно. И еще: в сонные мечты стал чаще врываться золотой звон. Но то не были деньги.

Спит-ворочается Доримедонт на скрипучей койке. Черные кудри его так красивы над белым лбом. Лицо с черными усиками, как лицо юноши-рыцаря. Братья и сестры его русые. Кто потемнее, кто посветлее. У отца были темные волосы. Почти черные. Потом поседел.

Снится Доримедонту, что под ним конь белый. Скачут они, скачут по лесной сказке. Дубы-великаны над головой, как змеи перевиваются. Листья на них золотые, птицы на них – все павлины. Тропа под ногами коня заколдованная. Никому не пройти, не проехать. А он скачет. Ему нипочем. Вот терем встал расписной. В терему царевна томится. Надо спасти царевну. Спас царевну. А какая она – не заметил. Дальше конь скачет. Вот лес – не лес. Дворец золоченый. И конь пропал-провалился. А он, сновидец, король ли, королевич ли, на троне сидит, важно рукой пошевеливает, милостивые речи говорит придворцам. А далеко впереди громадное зеркало, и видит он в зеркале том золотую корону с камнями на своих кудрях. А кудри ниже плеч. И такие черные на красном, золотом шитом одеянии. И смотрит королевич на красное, и гордо-весело ему. Пылает красное. Распылалось красное. И все кругом загорелось. Пожар дикий. А ему нипочем. Руками взмахнул. Улетел. Летит. О королевне вспомнил. Королевна, кажись, там рядом сидела. Ну да все равно. Дальше летит. Волга засинелась. В свой город прилетел. Вали на площадь! Народ скликай! Народ валом повалил. Ишь сколько! И купцы тут, и попы. А он, сновидец, уж не королевич сказочный, а настоящий губернатор. В карету сел, дверцы распахнул. На обе стороны из мешков монеты в толпу бросает. Крик. Шум. Ура. Губернатор важно народу головой кивает, фуражки не снимая. Вдруг – что такое?

– Держи его! Держи!

Отец на своей паре едет. Страшными глазами смотрит. Вскрикнул губернатор. Проснулся. Во все глаза глядит. Рукой кудри ворошит. Огляделся. На Семена уставился.

– Ты что, Сема, не спишь?

– Так.

– А сколько времени?

– Не знаю. Ночь еще.

– Макарка третьего дня часы купил. С цепочкой. Посмотреть?

– А тебе на что? Да они у него под подушкой. Разбудишь.

– Ничего.

Из-под одеяла выпрыгнул. К братниной кровати подошел-подбежал.

Важно разметавшись, спит на спине Макар, степенно похрапывает. Доримедонт часы за цепочку из-под подушки вытянул. Оборотив к лампаднему огню, посмотрел. Легонько свистнул.

– У, рань какая! Спать. И ты спи, Сёма. Ты что не спишь по ночам?

– Так. Не спится. Да и ты не больно рассыпайся. Знаешь какой день. Пораньше встать надо. Помочь там. Или чего. Дела много.

– Ладно. А ты что, говорю, по ночам не спишь?

– Так. Не спится, говорю.

– А ты книжку возьми.

– Зачем? Какую книжку?

– А так. Живо уснешь. Плохая попадется, скучная, от скуки уснешь. А если интересная, замечтаешься, тоже не увидишь, как сон возьмет.

– Нет. Что книжка...

– Не нет. А когда у меня, в Москве, сон очень плох был, я всегда с книжкой. А ты что? Боишься, что ли? Так ты не бойся. С сегодняшнего дня бояться нечего. На то он и сороковой день. Мытарства кончаются. Душе свобода. А папаша в ночь скончался. Теперь как раз. Ты бы...

И оборвал нить слов своих Доримедонт. Макар на кровати своей заворчал непонятное. Голос-говор злой. Голову с подушки приподнял. Глаза закрыты. Лицо круглое. Со сна красное. Нос красивый, отцовский, с круглой горбинкой, ноздри раздувает. Открыл глаза Макар. И сразу они, как птичьи глаза, по комнате забегали. Будто и не спал. А по тихой комнате лампадный свет, как загнанный зверек, бежит. Оживет – все кругом обежит. Замрет – где-то за углами таится.

– Это вы, что ли, тут разговариваете?

Голос Макара громкий, не ночной. Под подушкой пошарил. Часы поймал. К уху приложил. Вглядывается. На лампадку на вздрагивающую сердитые взгляды мечет.

– Дормидоша! Дормидоша! Не спишь?

– Чего тебе?

– Лампадку поправь. Еще погаснет, опять навоняет. Чего эта дурра Домна смотрит. Или загаси, что ли.

– Сейчас. Зачем гасить.

Взвизгнула койка. Выпрыгнул Доримедонт. Босыми ногами в пол бьет. Зашипело, затрещало. Вот ровным огнем лампадка поет, святые иконы радует. И стенам приятно. Доримедонт опять под одеялом. Ново-старый сон предвкушает, обожженные пальцы наскоро слюнит.

А Макару спать расхотелось.

– А Сема спит? Ты, Сема, спишь?

А сам волосы приглаживает. Волосы светлые-светлые. Как спелый овес. Причесываются-припомаживаются они бабочкой. Такая мода. За ночь, за сон бабочка чуть растрепалась. Будто побывала в ладонях у детей. Макару досадно, что нет зеркала. Встать лень. Дормидоше сказать стыдно. Приглаживает. А тут Семен говорит. Тихо так:

– Не сплю. Не спится мне.

– Вы о чем разговаривали? И чего по ночам болтаете? А, может, интересное что? Протетю Сашу?

– Нет. Так.

– Мы про сороковой день.

– Что про сороковой день?

– Тоска. Вот что.

Это Семен.

– Какая тоска? Очень вы папашу любили! Знаем.

– Да мы не про то.

Это Доримедонт. И голос его сонно-далек. А Макар говорит:

– Вот что. Когда же завещание? Ты, Сема, вчера с Рожновым говорил. Чего тянете? Мне Михайлов вчера говорил: вы, говорит, затянули. Так, говорит, нельзя.

– Нет. Ничего. Успеем.

Это Семен. И в бессонном голосе его злоба. Чуть.

Но Макар не знает красоты напевов души. Он слышит слова. Но Макар не только слышит слова. Он их видит. Видит написанными на бумаге. У Макара хороший почерк. Отставая от товарищей в науках, как и братья, в Москве он удивлял всех способностью выводить буквы почти с правильностью чертежника, но быстро. Буквы отдельно. Четко, красиво. Штрих и нажим – все на месте. И всем братьям приятно, что Макар такой искусник.

Макару захотелось опять спать. Повернувшись лицом к стене, пробормотал:

– Что же вы? Спите, что ли?

Лампадой успокоенные, стены молчали, впитывая в себя притворно-искреннюю тихость Семена и настоящий сон Доримедонта. Сон-грезу.

Между сном и сном скучно стало Макару. Злят его братья. Без него о своем, о глупом разговаривают.

– А ну их.

И сразу уснул. Уж храпит.

Дремлется Доримедонту. Павлиньи перья на голове качаются. Вот по лестнице идет, по широкой. Сладко дремлется. Хорошо на койке. Мягко и не дует. Еще недавно целый год спал Доримедонт на полу. Был тюфячок жиденький. Кровать кому-то понадобилась. У него взяли. На место поставить забыли. Целый год так и спал. Не жаловался. А теперь койке тело радо. Сладко дремлется. Не сон еще. А так.

По широкой лестнице идет. По мраморной. А справа-слева ходы-переходы, как кротовые норы. И оттуда разные тихие слова говорят люди какие-то.

А Семен ему тихо:

– Дормидоша! Ты о смерти думал?

Это наяву. Здесь, в комнате.

Голову поднял Доримедонт, дернулся. Не говорил с ним Семен о таком. Ну, да ночь. Проснулся, обрадовался.

– О смерти? Да я не знаю, Сема. Ты с отцом Львом поговори. А что? Разве боишься?

Тихие слова по лампадной комнате полетали. Семен на Макара посмотрел на храпящего. Грустно так. И брату говорит:

– Я, вот, вчера с ним, с Макаром, о смерти говорил. Так, немножко. – Семен как бы извинился. – Так он мне говорит, говорит, не умру. Как так? Все, говорю, умрем. Глупости, говорит. Я не умру. Не хочу и не умру. Это попы, говорит, выдумали да старухи.

Вслушался Доримедонт. Разговору рад. Так старшему брату говорит:

– Нет! Пожалуй, все умрем. Ну, и он тоже. Только не скоро ведь еще. Мы ведь молоденькие. А и вправду! Что это, Макар все черта поминает? К черту да к черту. Да черт возьми! Да... Смерть. Это, вот, папаша помер. Так оно к тому. А ты боишься, что ли? Да ты скажи.

– Так. Думается. И невесело.

– Думается? А вот отец дьякон с каждой рюмкой смерть поминает. То так, то этак. Земля, говорит, и в землю отойдем. И всяко. И покойников бесперечь поминает. А смотри какой веселый да толстый. Чуть ризу снял – и хохочет на весь дом. Веселее его и человека нет.

– Что дьякон! Он зряшный.

– Да я так. К слову.

Четким, мерным шепотом говорят братья. Лампадка трепетно умиляется. Не боятся братья разбудить Макара. Искренне храпит. Да никогда он и не притворяется. Что думает, то и скажет. Мешают – выругается.

– А Макар умный. Таким хорошо живется. И все их слушаются.

Но зазвенел обиженный шепот Доримедонта:

– Что Макар! Ты умнее. Чай, тебе, не ему дела сданы. Ты к папаше приближен был. Мы, дураки, всю жизнь тебя слушаться будем. Что мы в деле смыслим? И Агафангел Иваныч давеча про тебя говорил. Теперь, говорит, голова всему он. Что раньше, говорит, папаша был,

то теперь он. Советую, говорит, все ему предоставить. Это тебе. В завещании, говорит, этого не будет сказано. А воля папашина такова. Агафангел Иваныч даром тоже не скажет. Да мы и сами знаем. Кому же? Некому.

Агафангел Иваныч – это старик Рожнов. Железный старик и он, оба они с песчаного берега Волги поднимали фонарь славы железной фирмы. Теперь фонарь тот видят и Сибирь, и Москва. Это их две пары рук совершили. Почти полвека свершали. Что-то будет...

Однако рассвет. Ранний весенний. Волжский рассвет. И запел он над городом, и ударил лучистыми руками в занавески окон комнаты старших сыновей железного старика, ныне отошедшего. И усмехнулся рассвет лампадной сказке. И обиделся Доримедонт на кого-то. Не любил он не спать в такой час. И порадовали его слова Семена, ласково сказал Семен:

– Давай поспим.

И скоро уснули, каждый в себе живя, разделенные лампадно-рассветной битвой, но как бы обнявшись. Откуда-то издалека пускал на них свой храп брат Макар. И было так, что он, крепко-спящий, бодрствовал, а они, братья, чутко дремлющие, спали под крепкими замками. Такова была лампадно-рассветная комната.

VI

Рано вставали от сна в доме железного старика. А в комнате на антресолях, куда тащится прекрутая деревянная, чуть скрипучая лестница, в комнате четырех младших братьев все проснулось ранее положенного срока.

Федор, следующий за Макаром, только на год его моложе, двадцатилетний малый, старший из младших, проснулся, зевнул, зарычал, потянулся, усмехнулся и, захватив за угол подушку, пустил ее по комнате. Целил он в Вячеслава, своего погодка и покорного товарища в играх и более серьезных предприятиях. Но глупая подушка влетела в кроватку семилетнего Корнута. Это младший. Хилый, болезненный, он за последний год совсем чахнет.

Влетела глупая подушка. Придавила. Ужаснулся-проснулся. Затрепетал-захлебнулся. И вот закричал.

Быстро сообразил Федор. Выпрыгнул, бежит, подушку ухватил, назад тащит. Не поспел. Домна Ефремовна, нянька, тут как тут. Из-за ширмы. В чепце, в кофте, еще в чем-то. Старуха злая.

– Ты что, подлец. А! Мало тебе, жеребцу окаянному, архаровцвето твоих, – и в братьев тычет в просыпающихся, в Вячеслава и в Василия. – За младенца принялся. Пропasti на тебя нет, сатана долговязая. Прочь пошел, чего стоишь, жеребец бесстыжий... Не плачь, золотой. Здесь я. Вот мы сейчас мамашеньке скажем. Мамашенька его и выпорет. Подлеца этого несуразного. И выпорет дылду этакую.

– Ну, молчи, нянька. Не нарочно.

– И выпорем. Дворников позовем и выпорем. Не плачь, бриллиантовый... Ишь, подлец. А ты, Васька, чего суешься! Брысь! Дай-ка нам лучше водички... На комод там. Корнутушка водички попьет. И конфетку Корнутушка скушает. Давай, подлец, конфетку. Есть, чай.

И ожила комната. И поднялись занавески. Здесь они были коленкоровые.

Виноватый Федор поднял под одеялом острые колени и смотрит в книжку. Только что вытащил ее из-под матраса. Теперь не страшно. Не увидят. Другим делом заняты. А книжка занятная.

Вячеслав сердитый проснулся.

– Или Федька забыл, куда идти надо. Шумит тоже... Это тихо делается.

Василий, Васька, и к няньке и от няньки. Молод больно. Пятнадцать лет ему всего. С братьями страшно. С Домной Ефремовной, с нянькой, скучно. В гимназии не обучался: отец

под конец не захотел. Чем ты, говорит, лучше их. Они отвернулись. Назад попросились. На тебе попробуем – здесь приучайся, к делу присматривайся.

Силен был железный старик. И думал он тогда, что нет ему смерти.

Читает Васька пятнадцатилетний разные книжки. Но редкую дочитать придется – братья отнимают. Федор да Вячеслав. Увидят, отнимут, разорвут. Разбойники.

Старшие Ваську гонят. А младший только один Корнут. С нянькой. Но Васька любит няньку больше матери. Вынянчила. А Корнут – кто его знает. Пищит. Маленький еще.

Кончились нянькины слова-приговоры-ругательства. А еще рано. А спать уж не хочется. Утомив Корнута, нянька за ширму пошла-поехала. С чепцом и со всеми своими глупостями. Нет больше няньки.

И Федор говорит:

– Сволочь.

И юноша Вячеслав отвечает ему:

– Сволочь.

И, поняв брата, старший говорит-шепчет:

– Одевайся.

– Сейчас.

Одевались. Смотрел на них Васька. Смотрел и завистливо, и враждебно.

И смотрела на них, уходящих, кроватка маленького Корнута. Смотрела беленькая. И сетки-стенки ее были закрыты простынями, одеялами. Белым чем-то. И не видно Корнута.

Федор и Вячеслав ушли. Сапоги в руках несут, няньку обманывают.

С лестницы сошли, крадучись. Мимо родительской спальни идут – дух затаили. А там контора. А там сени. Шапки, пальто, калоши. Чуть не бегом с заднего крыльца во двор. Ворота скрипнули. На улице. Переглядываются. Кругом озираются. Здесь еще все свое, домашнее. В переулочек быстро. Шагов двести. Река завиднелась. Синяя. Никого.

– Хо-хо-хо!

– Хо-хо-хо!

– А ловко!

– Ловко-то оно ловко. Только теперь поспевать надо. Не дай Бог к панихиде опоздать. А там обед еще этот.

– Верно. Айда к перевозу. Поспеем. Ишь, рань какая. И подлая же эта Тараканиха. В иной день не могла.

– Это она нарочно. По записке видно.

Синяя-синяя Волга весенними водами полнится. Льдинки холодные плывут. Снег на них, как сахар. Поздний ледоход ныне. Затяжной. Навигация запоздала. За Ярославлем только подвижка была. Страшновато.

Вот и перевоз. У самой реки живой домик-ящик из горбушинника сколочен. Старик ветхий, чуть зрячий. Да парень здоровый, внук его, что ли.

– В Заречье нам.

– Рупь.

– Что? Нам всего-то к Женам-Мироносицам. Пятиалтынный.

– Рублик пожалуете – свезем. Хоть и назад за ту же цену. Туда поспеем. Обратно плыть, как раз затрет. До ночи промаешься.

– Чем затрет-то? Смотри: льду нигде нет.

– Сейчас нет. А чуешь, как холодом тянет. Волга-то ныне чуть не на десять верст. Скоро не обернешься.

– Врешь ты.

Однако переглянулись братья. И в глазах тревога. Отошли несколько. Бормочут-шепчутся.

– Вдруг взаправду опоздаем?

– Ну, это он врет. К ночи, может быть, и пойдет. Да и не сплошной же сразу пойдет. Так, сало.

– Аида! Эй, ты! Полтину хочешь?

– Рупь.

– Вези, разбойник. Только ждать нас там. Мы живой рукой. Грабите вы тут.

Перекрестились. Сели. Плывет лодка. Парень на веслах. Старик ветхий на руле. Поговорили еще про то, что, конечно, поспеют, что как не поспеть, что к ночи разве...

Не о чем говорить стало. Принялся Федор насвистывать. Лицо стало глупое-глупое. Вячеслав на воду смотрит. Задумался. Глаза тихие. Будто мысли рождаются. Долго так. Широка весенняя Волга. Ловко парень воду режет, веслам звуку не дает. Нахмурился Вячеслав. Вспомнил. К брату старшему оборотился; сказать хочет. Потом будто раздумал. Потом опять.

– А знаешь, Федя? Ведь, чертову-то старуху эту можно вот как приструнить...

– Какую старуху? Тараканиху, что ли?

– Нет. Я про Домну.

– Про Домну? Что такое? Да говори ты.

– Слово я ей, проклятой, дал. Подкупила. Больше года уж. Ну, да больно надоела. Пусть повертится. Не знаешь ты, почему Корнут скрипит, того и гляди помрет? На Пасху это было. В прошлом году. Она его, дура, с лестницы скатила.

Федор рот разинул. Близко братья придвинулись.

– На ступеньке, на верхней, сидела, всякий вздор свой Корниту набалтывала. А он у нее на коленях. Как уж это случилось у них – не знаю, только вдруг – трах! Корнут с колен с нянькиных покатылся. Вот эдак, вот эдак, кубарем. Все двадцать ступенек пересчитал.

– Ну?

– Лежит. Сначала молчит. Думали мы – убился. Потом как заорет, как заорет! Домна ко мне. И так, и сяк. Ну, подкупила. Я один только и видел. Корнута разными словами запугала. А у него спервоначала только синяк на лбу был. Мамаша прибежала. А та ей: об кроватку, говорит, стукнулся; не усмотреть.

Выслушал Федор. Глаза горят. Помолчал. Свистнул протяжно.

– Попрыгаешь ты у меня, подлая... Ведь мать всех нас за него одного отдаст. Так я говорю, Вяча?

– Оно, конечно. Младший. Богом данный. Только и Семен с Макаром в чести.

– Ну то, пожалуй, и не любовь. Старшие они. Ну, и надеется на солидность ихнюю.

– А Доримидоша? Он ведь старше Макара.

– Что Доримедонт! Ни нашим ни вашим. Из него веревки вить. По уму Ваське ровня. Даром, что чуть не двадцать пять лет парню. Да какое! Васька умнее. Нет, Вяча. Вот что. Папаше бы еще только годик протянуть с небольшим. Мне бы совершеннолетие тогда. Показал бы я Семену да Макару. Ну а теперь к делу не подпустят. А ничего у них, Вяча, не выйдет. Один нос задрал, петухом бегают, покрикивают. Другого Агафангел запугал. Как подмоченный Семен бродит. А я на дела дока. Нюх у меня. Мне бы только простор дать. Услышишь, как я сейчас под Тараканиху мины подпускать буду.

– Ну и она под нас не хуже.

– А все почему? Широты нет. Из трех тысяч десять вышло. И еще до совершеннолетия сколько набежит! И оба мы у нее в руках. Ишь, какое письмо накатала. На маменькино, вишь, усмотрение предоставляю. И в сороковой день. И плыви к ней, к подлячке, за целковый. А тут ледоход и всякие хляби небесные. А из-за чего? Дела грошковые. Нет! Будь у меня миллион, я бы ее в бараний рог.

– А нам, Федя, по миллиону?

– С хвостиком. Только вот жди. Я и говорю: будь у меня сейчас, я бы в бараний рог. И ни копейки бы не заплатил. Она меня мамашенькой, а я бы ее судом; она бы меня судом, а я ее полицией. Ну а пока что крылья подрезаны.

И Федор вздохнул.

Вячеслав зашептал, стыдась перевозчиков:

– Только ты Домне обо мне ни-ни.

– Конечно. Ни-ни. Только попляшет стервоза... Да скоро ли, братцы. Нам к спеху.

– И так стараюсь. Вопрел инда. А на чайшко пожалуете, господа купцы?

Расшедрился Федор.

– Пожалуем. За деньгами едем. Не жалко.

А Вячеслав брату изумленно-робко шепчет:

– Как – за деньгами? Не даст больше. Или письмо забыл?

– Эх, ты, паря! Коли такое дело улаживать едем, как же еще не взять. Чай мы не Дорми-доши... А с Корнутовым делом, брат, ловко выходит. Только как это ты больше году таил?

– Да так.

– Ну, понимаю. А сколько?

– Да брось, говорю...

– Ладно. Эй, ты! Погребывай, паря! Нет, стой! Бросай весла. Я тебя сменю.

VII

Весеннее солнце привычно радовалось. Дом на Торговой чинно гудел голосами попов и певчих. К стенам оттиснутая мебель залы не видна за толпой родных, домашних и именитых гостей. Степенность рыхлой почтенной вдовы нарушена беспокойством. Часто озирается. То на те двери, то на другие смотрит. Двух сыновей с утра дома нет. В такой день... Скорбь и злоба. И на чью голову грех падает?

Домна, нянька важная, у стенки на коленках стоит. Одной рукой кресты кладет, другой Корнута хилого обхватила, поддерживает. Корнут глаза закатил, головка на плечо валится. Желто-бледен Корнут. Любит нянька Корнута. И как жалеет. И как плачется. Но не боится нянька, что расплатится Корнут. В доме железного старика никто из детей его в священно-торжественные дни не плакал, не кричал, виду не показывал, что усталость берет. Горячо молится нянька Домна Ефремовна. Грехи стариков замаливает. И свои, и своего барина-покойника. У обоих, чай, много. А этот грех? Этот-то ее грех?

– О, Корнутушка!

Бодро, решительно стоит Макар. Как унтер на смотру. Свои думы думает. Рядом Доримедонт в сонную грезу уплыл. Чтоб не покачнуться – давно на колени стал. Не видно его. И глаза закрыл. И грезится ему разное. И так приятно, что в грезные ходы-переходы, как мухи в открытые летние окна, влетают живые грезные слова молитв. Не страшно Доримедонту. И не скучно. Но Семену, рядом стоящему, страшно. Молился он горячо. За душу отца. И шептал слова молитв, и шептал-мыслил слова своей души. А ныне душа его такая неспящая.

– Прости ему, Господи, прегрешение его. И меня, Господи, прости и научи. Дай мне все уразуметь, Господи, чтобы был я достоин отца моего телесного. Прости ты меня, папаша, за неразумие мое. Возложена на плечи мои тягота непомерная. Дай мне силы, Господи, снести тяготу мою.

Тогда запелась громкая «Вечная память». И сбились Семеновы мольбы. И испуганно взглянул он. Видит: в одну дверь Вячеслав входит, в другую – Федор. И Вячеслав робок, как побитый пес, вошел и тут же стал. Федор же торопливо к матери. К уху ее нагнулся. Немного слов шепнул, что-то в руку ей сунул. Позади ее с братьями стал. Крестится. Спокойный. Даже веселый.

Краем думы подумалось Семену:

– Откуда они?

Но тотчас повиделась Семену там, возле протопла соборного – уж не из-под рясы ли его, – его, Семенова, женщина. И уж мала же она ныне. Перекрестился, головой тряхнул. Нет. Здесь. Манит. Прельщает. И такая она... неподобающая. И замолился Семен, закрестился. Хору подпевает, земные поклоны не по чину дня кладет. Но через минуту вышел Семен из залы. Не одолел греха. А с грехом при святыне оставаться нехорошо. Еще других смутишь. А самому так страшно слабости своей. Тихо вышел, голову склонил. В прихожую вышел. Тут кое-кто из слуг, чином поменее. У задней стенки стал. В раскрытые двери невидящими глазами смотрит. А невидящи глаза из-за слез.

Покойника раздумчиво-страшными словами поминают.

Скорбны были в день поминания железного старика слезы наследника его и продолжателя. Оплакивал робкий Семен слабость свою греховную и робость.

А Федора с Вячеславом Волга задержала. Сбылось предсказание перевозчиков. Беседа с ростовщицей Таракановой затянулась. Много крику было. Та запугивает, братья просят. Та упрашивать начала, они грозятся, деньгами будущими кичатся. Скорее поладили бы, если бы только деньги. Но у Тараканихи дочка девица. А у дочки подруга. А братьев тоже двое. Одно к одному Тараканиха все и вспомнила, все и насчитала. Впрочем, дала Федору две тысячи только потому, что не имела пяти. Долго радовалась Тараканиха, разглядывая братнино заемное письмо. Был разговор о векселе. Да ну его, вексель-то. Малолетние. А письмо все вместе сочиняли. И там, кроме формы, многое Тараканиха всунула. А Федору разве страшно? Скоро сам себе голова. Отдал деньги и все тут. А захочет – не отдаст. Однако Тараканиха обе подписи потребовала. Мало ли что.

Чай пить оставляла. С вареньем. С пастилой. Потом обед скоро. За дочкой послать обещалась. К подружке Вера пошла. К той, к Маше.

– Чего просите? Разве не знаете, день у нас какой. И то как бы не опоздать. Прощайте. И хлопоты же из-за вас!

– Да и от вас, голубчики мои, немалые.

– Ладно. Верочке поклонись от меня.

– А от меня Машеньке!

– Хорошо, спасибо вам. Счастливо.

На берегу ждал братьев испуг. Река льдистая. Чуть синь воды видно. Лед мелкий идет. Хрупкий. Веслом ударишь – разобьешь. Парень лодочник говорит:

– Не поеду.

Испугались братья. Федор гневен стал. Кричать собрался. А тут старик ветхий заскрипел-заговорил:

– Для чего нельзя? Садись. Перевезем.

Старик смерти не боится. Что ему смерть. Парень – внук, что ли, – жизнь любит, смерти не чувствует, так опасается; но старика слушает: значит, так и надо. Братья деньгам рады. Федор горд. Вячеслав изумлен. И оба домой спешат.

Плывет лодка. Парень вверх забирает.

– Куда?

– Эх, и как еще снесет.

Плыли. Шуршали малые льдинки. Кружась, отбегали. Вот ударило громко. Покачнулись все. Затрещало. На реке плывучи не видно, как лед сплошной стал, льдины крепкие. И пришлось спускаться, как того река хотела. Весенне-капризная. И гнал лед. И шуршал то злой, то отпускающий. И не пускал парень на весла Федора, и ловко греб, выжидая темно-синюю улыбку. Помолодел ветхий старик. И бегали его глаза, и работали веслом руки.

Долго терлась о льдины лодка. И набавлял цену Федор. И причалила лодка. А снесло верст на пять.

Потому опоздали Федор с Вячеславом. Лицо Вячеслава хотело плакать, когда они были недалеко.

Деньги были у Федора, и он хранил бодрость.

– Стой. Сюда.

Вошли в часовню.

Вышли.

– Видишь ты эту просфору?

– А? Ну?

Вячеслава убил предстоящий стыд опоздания.

– Ну. И пусть эта просфора будет из Печерского монастыря. И там мы стояли обедню. Понял?

Но стыдный страх охватил Вячеслава. И потом молча вошли в дом.

Спасли Федора деньги, таившиеся в его кармане. Две тысячи. Он, не боясь, вошел в поминальную залу. И почтительно подал поминальную просфору. Спокойно-важно вымолвил:

– В Печерском монастыре были. Просфору вынимали. Задержались.

И гудели слова молитв.

И стояли братья. И поодаль стояли две сестры их, ими неизвестные. Врозь с братьями росли Любовь и Анна. И не хотели братья сестриних жизней. Только Васька бегал в сестриную комнату. По вечерам да по утрам.

Любовь и Анна в черных платьях. Красиво портниха обшила крепом. У Любви на голове убор-чепчик из креповых полос. Красиво. Анна не захотела.

– Где хотите, только голову оставьте.

Обе сестры по купечеству старые девы. Любви двадцать пять лет. Анне двадцать четыре. Обе учились в институте для благородных девиц. И вот стоят чинно, молитвы разные слушают. Колено-преклоняются после всех, но быстро. Шуршат – боятся ошибиться. И все в них почтительно. Но и все в них важно.

«Здесь много смешного. Но мы не смеемся. “Вечная память”. Да и было бы над кем смеяться».

Васька около сестер. И то они замечают его, то не замечают.

В черной курточке, в черных штанах – у Васьки пока пиджака нет – стоит он подле сестер, их косым взглядом оглядывает. Или забыла нянька, что Ваське пятнадцать лет.

Торжественно выплакалась панихида. Стали люди по комнатам чинно ходить. Большой человек был железный старик, раб Божий Яков. Но слова воспоминаний о нем ныне были больше величия его. Каждый хотел, чтобы покойник был еще богаче, еще умнее, еще железнее.

И торжественно сели за трапезу. И торжественную беседу повели. И много было слов, и много было ряс разноцветных, золотых крестов. И много было черных сюртуков – и длинных-длинных и покороче. И много было рыбных даров Волги, и много было блинов и вина.

VIII

Недавно Васька узнал тайну жизни. Женщина любопытна ему. А молодых женщин в дому нет. Только сестры. Он их и разглядывает, просыпающиеся чувства свои тешит. Утром придет в сестриную комнату. Те одеваются. Горничная девушка Феня помогает. Ну, та старая уж, желтая. Долго одеваются сестры, причесываются. Васька на голые руки глядит, на порхающие. И платье разное женское, по стульям набросанное, приятно ему. И запахи разные. Переговаривается Васька с сестрами о разном, только не о том, где мысли его. Дышит тяжело, и мысли его то полетят, то спотыкаются. Ну, и вечерами то же.

Феня стародевичьим хитрым глазом своим ревнивым что-то подметила.

– Не место бы барчуку у нас. Девуцы вы. А он уж на возрасте. Нехорошо. Смотреть ему не годится. Зазор.

Накинулись сестры на Феню, хохочут, дразнят.

– Какой зазор? На каком он на возрасте? Разве не брат он? Мальчишка он. И нам с ним весело. И не грубиян. Не Федор. Тебе все, старая ты дева, неприличности да зазорности мерещатся.

А сестры Ваське про институтскую жизнь хохочут-рассказывают. И про женихов своих. У каждой по два жениха. Но ни один им не нравится. Каждая друг дружке своих предлагает, каждая всех четырех высмеивает, и над лицами жениховыми потешаются и над фамилиями.

Старшая, Любовь, хохочет:

– Мой Брыкалов смешнее всех. И усы лакейские, и кличка хороша.

– Нет. Мой Трюхин смешнее. И фамилия небывалая, и щеки, как свеклой накрашены.

А как ножкой шаркает.

Балагурят сестры. С Васькой веселее. Слушатель. Случится – глупость сболтнет, насмешит. И время утром такое: болтливое, шутовское. Вот врет старая Феня! Пусть Вася ходит.

А знаешь, Феня, почему у тебя глупости на уме.

– Почему, барышни?

– Старая дева ты. Вот почему. Хочешь, замуж выдадим?

– Выдавайте, барышни. Только поздно мне. Не возьмут.

– Мы тебе всех четырех женихов сосватаем.

– Полно, барышни. А вот вам как раз пора. И что вы их за нос водите который год? Да и им тоже хозяйками пора обзаводиться. Подождут-подождут, да в другом месте и найдут. Недаром в Москву двое поехали.

– Ха-ха-ха! Ну, когда у нас у каждой по одному останется, мы и выйдем. Наспех и выскочим. Жребий кинем: кому какой, и выйдем.

– А коли всем четверем сразу ждать надоест?

– Из Москвы новых выпишем.

IX

Накануне свадеб дом на Торговой.

Давно вскрыли завещание. Ничего неожиданного там не прочитали. Только дочерям не по закону, но равные с братьями части. Всем девятерым по полтора миллиона почти. Сестре Александре деньгами немного. И дом на горе. Пустой стоял. За долг старику достался. Двоюродному брату Степану Степановичу Нюнину ничего. А больше и родни нет. Есть в родном селе дальние родственники, но те давно забыты, за родню не почитаются. Ну, вдове тоже много денег. Это по закону. Малолетние до совершеннолетия под материнской опекой во всем. Затем про дела торговые. Какие кому долги выплатить из тех, на которые векселя не писаны. Чтобы честно. И еще кое-что деловое.

Никакой душевной лирики не вычитали. Ни на бедных, ни на церкви – ничего. Служащим, даже Рожнову, ничего. А про Рожнова много догадывались раньше.

– Не менее полмиллиона отписал, поди. Уж как любил старика. А то весь миллиончик.

Только старик Рожнов отшучивался, когда слышал:

– Глупости все.

А то и рассердится, бывало.

– И чего врет народ! С какой стати мне? Чай, не свой.

После вскрытия завещания, нимало не разочарованный, не обиженный, даже как бы ободованный и просветленный, поговаривал:

– Ну, где он, мой-то миллиончик...

Искренне радовался старик Рожнов. Будто его в чем-то преступном много дней подозревали. И вот его невинность обнародована. Далекие от дел люди догадывались:

– Накрал, поди, достаточно. Больно весел да важен стал. Капиталом большим попахивает. Но люди знающие и слушать не хотели.

– Ты у старика у покойника гвоздя не украл бы. Чего врете! А вот что покойник Рожнову перед кончиной из рук в руки сумму порядочную передал, этому верим. А капитал, как будто правда, у него имеется.

Кое-кто из семейства даже сконфужены были отсутствием в завещании стариковом пункта о церковных жертвах. Очень уж явно рассчитывало духовенство на многие тысячи; и соборное духовенство, и Покровское, и своего прихода, и Печерское, монастырское.

Порешили дать.

– А то в глаза смотреть совестно будет.

Отчислили на всех сто тысяч. Вдова половину дала. Остальное дети поровну. Федор с Вячеславом за спинами старших ругались. Но их не спросили. Отсчитали и с них.

Адвокат Михайлов, всего за год до того в городе появившийся, раздел затянул. Долго денег никто не получал. Рожнов гневается.

– Свою выгоду соблюдает. Не иначе. А тут дела стали.

Но деньги на нужное все же были. Только процент на много месяцев разладился.

И потекли дни. И лето было. Осень завершилась.

Накануне свадеб дом на Торговой. Вот только годовой срок траура пройдет. Неблизко еще. Ну, да и недалеко.

Александра, сестра железного старика, тетя Саша, сорокалетняя девица, юркая, картавая; все над ней подсмеиваются, над ее двадцатилетней любовью.

Сампсон Сампсонов давно-давно приехал однажды из Петербурга; вспомнил, что у него от отца именище на Волге зря стоит. А деньги нужны были. Сампсону Сампсонову всегда деньги нужны. В банк. Мало дают. Туда-сюда. Не покупают. Заложит – мало дают. К железному королю. Поговорили. Поехал с Сампсоновым Рожнов имение смотреть. В три дня кончили. Купил железный старик. И деньги выдал, долг высчитал. Увидала Александра Сампсона, в минуту влюбилась. Высокий, стройный, усы черные в стрелку, говор громкий, держится развязно, пенсне золотое. На Александру сощурился, она и влюбилась на всю жизнь. Уезжая в Петербург прокучивать деньги с именища, Сампсон, кстати, справился об Александринном приданом. Узнал, только свистнул. Гроши. Расшаркался, раскланялся, укатил. Раза три потом в разное время, когда очень туго приходилось, стороной наведывался, не прибавил ли железный король приданого за сестрой. Не прибавлял. Не к чему. Так двадцать лет и прошло. Двадцать лет влюбленно-тихо сохла Александра. Стариковы дети годами дразнили картуавую тетю Сашу:

– Вьюбьена, как косяка.

Умер железный старик, Сампсон Сампсонов о наследстве разузнал. Тут как тут. Прика-тил. Визит. Его и не узнать. Так же прыгает-вертится-хохочет. Но седой стал. Усы, впрочем, красит. И так же в стрелку. Но для тети Саши он тот же. И счастью ее нет границ.

Важно-насмешливо играет Сампсон роль жениха. Ежедневно на Торговую обедать из гостиницы ездит. За столом шутит, анекдоты рассказывает, громко хохочет, невесту дразнит, в румянец вгоняет.

– Все равно уж, про себя решил, загублю свою вторую молодость. Как-никак, хоть обидел старик сестру, а с домиком на горе у нее тысяч до двухсот. В Питере не каждый день про такие деньги услышишь. Это здесь только она не невеста. Там бы она и для графа пара.

Блаженствует невеста Александра. На гору, на Откос, часто ездит, смотрит, как комнаты в доме маляры отделявают. Домик кирпичный, небольшой, одноэтажный. В пять комнат. Но прочный на диво. Стены толстые. Блаженствует невеста. С малярами толкует, от блаженства

так картавить стала, что редкое слово понимают чужие люди. Будто курица кудахчет, а не человек говорит.

По комнатам гнезда своего бегают, краски не боится; в спальню забежит – застыдится, лицо красное станет и масляное. А лицо у Александры чуть рябое.

Спальню мастера голубой материей обивают.

Хорошенькое гнездышко у старой невесты. Домик маленький, а сад при нем вдоль по улице Откосной большой, и позади домика все сад. Тени сколько летом будет. И счастья сколько в этом саду! Много будет позднего счастья.

Скоро-скоро будет свадьба в доме на Торговой. И не одна эта. Но порешили, что эта будет первая. Уж очень долго ждала Александра. По двадцать лет только в сказках жениха ждут.

Х

Вторая свадьба сильно беспокоит мать-вдову.

Макар на Раисе Горюновой жениться хочет. Совсем решил, безотлагательно. У Горюновых уж приданое шьют. И раньше было заготовлено. Ну, да жених из такого дома. И серебра много прикупили.

С Горюновыми старик знакомства не водил. Однако раза три в ярмарочное время деньгами Михайло Филипповича ссужал.

Много народу торгового к железному старику за деньгами приходили. Кто важный придет, веселый. У самого деньги немалые. Только в товаре, или в баржах, в плотах. А кто придет да поклоняется. Сам знает, что человек ненадежный. Ну а с Божьей помощью и обернуться может. Еще как.

Михайло Филиппович Горюнов, Раисин отец, имеет на Верхнем базаре галантерейное дело. Немалое.

В полумиллионе он в лучшие времена был, говорили. Но в последний раз, года за два до смерти своей, отказал ему в деньгах железный старик. Много ли просил Михайло Филиппович, или старик учуял неладное, только не дал. А через год уж Горюновские дела сильно покачнулись.

Потом разное говорили. Одни говорили:

– Дай он ему тогда пятьдесят тысяч или хоть двадцать пять, тот бы обернулся.

А другие говорили:

– Потому и не дал старик, что крах почуял. Тоже не лыком шит. В верные руки что не дать? Все равно что из правого кармана в левый переложить, только больше вынут. Нет! Тут неспроста.

Разное говорили.

Теперь Макар женихом к Горюновым ездит. Весь город о том знает.

Отец тогда с решительным отказом в деньгах к Михайле Филипповичу Макара посылал дважды. Тогда Макар Раису и увидал. Полюбилась ли тогда же, задумал ли жениться – неизвестно, но, говорят, отцу ни слова. Не позволил бы. Тогда старик о Горюновых нехорошее говорил.

Ездит Макар на беговых санках к невесте; матери своей слушать не хочет. А та ему:

– Послушай, Макарушка. Брось ты это. Против отцовской воли идешь. Попомни ты слово мое: горевать тебе с Горюновой.

– Оставьте, мамаша. Не маленький, сам знаю. А вам в ваши почтенные годы каламбуры каламбурить, пожалуй, и непристойно. А я ничего против отцовской воли не делаю. Коли бы папаша жив был, он бы нас благословил. А разговору при папаше о Раисе Михайловне не было.

– Как – благословил бы? Это на Горюновой-то жениться! Да слыхал ли ты, что покойник, царство ему небесное, о Горюновых говорил?

– Нет. Не слышал.

– Вот и лжешь. Слышал.

– Да не знаю я ничего! По-моему, он бы нас благословил с радостью. А если вы про то, что папаша раз Михайле Филипповичу в деньгах отказали, то это ничего не значит. В деле и не то бывает. Отцу родному отказывают. Может быть, свободных денег не было. Не из дела же вынимать.

– Полно, Макар. Что говоришь! Бога гневишь, против отца идешь.

– Ни капельки, мамаша. А вот вы лучше посоветуйте, кого в посаженные матери пригласить, коли вы сами не пожелаете.

– Макарка!

– Что изволите, мамаша?

– Макар! Нет тебе моего благословения. Не пойду против воли покойника, отца твоего. Он мне перед смертью наказывал. Пусть, говорит, Макар о Горюновой и думать не смеет.

– Неправда, мамаша.

– Как – неправда? Это матери такое слово...

– Потому как если бы правдой это было, вы бы мне повинны были, как мать, тотчас же волю покойного моего отца сообщить. А вы полгода молчали. Не могли же вы волю покойного ни забыть, ни от сына скрыть. Стало быть – неправда. И вам, мамаша, грешно.

После таких сыновних слов, конечно, старухины слезы. И разговор на много дней оборвался. А Макар на беговых саночках к невесте поехал. Саночки новенькие, желтые, из Москвы выписаны. Конек гнедой, грива и хвост – светлые. Трехлеток. Макар сам правит, Ветрогона обьезжает. Конюх рядом сидит.

Горюновы живут в верхней части города. На Откосе. Недалеко от домика тети Саши, счастливой невесты, и их домик. Небольшой тоже. Деревянный. Но с мезонином. Мебель вся красного дерева и карельской березы. Окошки маленькие, занавесочки белые, кисейные. Полы крашенные. Печи – изразец белый с голубыми фигурками. Уютно.

Первая Макара Раиса увидела. У окна сидела, с книжкой. Не то что жениха поджидала. А так.

– Мамаша! Едет.

Мать на кухню крикнула:

– Кофею сварь. Да поскорее.

Раиса спокойно к зеркалу подошла. Близко к зеркалу придвинулась: близорука. Прическу поправила, бантики на платье.

Звонок быстрый. А горничная крюк с двери снимает. Встречали. Принимали в первой комнате, в трехоконной. Залой называется. Кофеем угощали. Смеркалось. Время послеобеденное. Макар кофе любит. Коньяк тоже. Отца дома не было. Разговор чуть ладится. Горюнова-мать, не старуха, а так, почти, мало слов говорит, к жениху не привыкла. Как чужой.

Про весну толковала. Вот, мол, и зимушка-зима почитай что прошла. Только бы поста Великого дожидаться, а там и до весны рукой подать.

У Раисы при матери невестные слова с уст не летят; тоже больше о зиме да о весне. На жениха глядит – не глядит, чуть заметно прищурившись.

– А там и свадьбу. Как год пройдет по папаше, мы сейчас свадьбу.

А Раисина мать ему:

– Что уж больно спешите, Макар Яковлевич. Можно и пообождать. Еще и на полгода откладывают, и на год даже. Оно приличнее, солиднее. А то скажут: траур снять не успели, а свадьбу играют. Можно потерпеть для святости.

Так говорит, и глаза ее лгать стараются, и голос масляный.

– Нет... Мы откладывать не будем.

Опять мать про подарки вспомнила. Макар невесте браслет привез, а сестре ее, Пелагее, часики.

– Сейчас, наверно, выйдет Пелагея. Взгляни, Раичка, тут-то как узорчик по эмали выведен. Какой хорошенький да тонкий. Ты не видала.

– Видела, мамаша.

– Вот-то Пелагеюшка обрадуется... Что же ты, Пелагеюшка, долго как?

Это мать слышала скрип деревянных ступеней лестницы. Из мезонина Пелагея.

– Здравствуйте.

– Здравствуйте. Подарочек вам позвольте презентовать.

Двадцать лет Пелагее. Желто-бледная. В черное всегда одета, в скромное. Пелериночка. В монастырь просится. Давно. В мезонине Богу молится, иконам окладным, лампадочкам. Из дому только в церковь. А церковь через дорогу. Тихая, с лицом сухим, сбоку на нее посмотреть – словно горбатая: ключица с детства вывихнута. Рукой правой плохо владеет. Крестное знамение класть привыкла, а другое, что нужно, левой рукой всегда.

Кофей пили. Помолчали. Это Макар сегодня о своем думает. Подчас улыбнется. Прощаться начал. Упрашивали. Уехал.

– Что это он вправо повернул? По набережной. Куда бы по сугробам-то...

А думал Макар о том: был-таки у него с отцом, с железным стариком, разговор однажды. Робко попросил Макар благословения отцовского. Издалека подходил – словами подкрадывался. Крикнул-цыкнул старик, не дослушал.

– Горюнову из головы выкинь! Слышишь. И больше чтоб ни слова!

– Да я ведь так... Я посоветоваться... Не хотите ли, дескать, папаша, чтоб я на ней женился. А мне – как вы.

И на дверь Макар тогда оглянулся. Нет ли кого.

И так повел Макар разговор, что никому старик о том не говорил. И не говорил более о том и с Макаром.

И улыбается Макар теперь, через год, в саночках сидя. Улыбается ловкости своей.

«Хорошо вышло. Чист. И мать в дурах».

А в маленьком домике у церкви разговор перед остывшим кофейником.

– Он мне сегодня, мамаша, как-то меньше понравился.

– Что ты, Раиса! Как это так статья может! Сегодня меньше, завтра больше. Глупая ты. Право, глупая.

Ушла невеста в свою комнатку. Словами-думами себя хлещет:

– Дура! Дура! И к чему говорила!

И мать ее стареющая за двумя дверьми твердила, злая:

– Дура. Право, дура.

А Макаровы саночки Ветрогон по ухабам тащит, пофыркивает. Не свозят снег с верхней набережной. Езды мало. Да и летом улица эта только для катанья. По делу некуда.

День морозный. Крепкий снег хрустит. Справа – вот церковь Святого Георгия миновали, заборы потянулись, за заборами садов старых белые деревья. Вот дом казенный. И опять заборы. Впереди опять церковь. А там, за садами, далеко, гимназия покажется.

А слева везде далеко внизу подснежный лед реки зимней. А за рекой деревни, меж деревень поля белые. Красиво-то как! Простор! И тихо. И никого близко. Но галки стаями над садами. Старики здесь волков помнят.

Еще тише конек пошел. Макар направо смотрит. И радостен взгляд его. И чуть зол.

Александрино место. Сад большой, дом маленький.

– Вот бы где дому стоять.

Дом Макаров, будущий дом его, велик и прекрасен. Тысяча каменщиков будут строить его. Чертежи-планы из Москвы и из Петербурга. И будет дом – дворец. И во дворце сто комнат.

И зала в два света. И лестница-мрамор – какого нет нигде. И будет дворец тот стоять ровно миллион. Так нужно. Велик и чудесен Макаров дворец. Пусть весь город ахнет. Пусть со всей Волги полюбоваться съезжаются. Где стоять дворцу тому? Не в улице же узкой, где дома по обе стороны. Давно решил, что здесь, на набережной. А на набережной на верхней Александрино место – лучше не найти. Там набережная кривится, – виду нет. Тут места казенные. Там церковь рядом. Перебьет колокольной.

Нет лучше Александрино места.

– Сад бы этот к черту! Ну, не весь. Там можно оставить. Место угловое. Улица в город. Как раз. И дура же тетя Саша. Ишь, ремонт затеяла. Сампсон этот... Эх! Не уступит. Не продаст. Конечно, если дать вдвое... Раньше бы мне. Да когда раньше? Она сразу. Эх!

И полюбовался Макар своим дворцом, и косым взглядом оглядел противный домик тети Саши, и попытавшись себя обмануть, дальше проехал. Сугробы пуще. Направо на заборы глядит. Слева, по горе, сад вырос. Старый городской. Вид где? Дальше кривулинами пошло. Нет! Рукой махнул. Коня обратно повернул. Чуть санки не опрокинулись. Конюх напрочь толстым телом высунулся. Удержались. Ветрогона погнал. Ухабы живыми стали. Мимо дворца своего едет-прыгает Макар, на дворец не смотрит. Миновали. А в саду, в Александрином, заплакало-зарыдало. Сыч, что ли. Зимой-то. А после хохот. Злой, Ветрогона вожжей хлещет Макар. Конюх за санки держится. А за ними хохот. Но тихо. Или чудится?

XI

И еще свадьба будет. То Семенова. Пусть дом на Торговой на счастье молодое наглядится.

В купеческий дом ездит Семен. Вечерами после закрытия конторы. Днем с Рожновым. Уверенности теперь больше: кое-что понято. И ездит.

Семенова женщина теперь никогда нагою не рождается. А одетая, не так нарядна. Не по-королевски, а по-петербургски одетая. И лицо – всегда одно лицо. То Даша. Ирининых дочка. Купцов – не купцов, а стариков богатых. Отцы их были купцы.

Ездит туда Семен влюбленный.

Вечерами счастлив Семен. Ирининых дом – полная чаша радостного молодого вина. Жизнь дома – нескончаемое весеннее ликование. Молодежью комнаты полны. Молодежь сверкающая, много нездешних. Офицеры разных мундиров, красавцы во фраках и барышни, барышни, одна другой прекраснее и веселее. И дамы, как царицы. Есть и такие, что с мужьями своими не живут. Глаза у тех, как ночные цветы. И помыслить о близости с ними страшно. Вечерние комнаты полны людей. А сколько вещей в комнатах тех. Вещи все петербургские и заграничные. Мебель и вазы разные, и безделки драгоценные и картины – все темных цветов. Но темные цвета те таковы, что излучают загадочное сияние. И мраморы желтые. Но живые. И в темных комнатах Ирининского, дома светло, как в доме сказки. И полнятся комнаты пороханием, и смехом, и французским умным разговором, и то ручьями, то морями музыки. А ужины в Ирининском доме королевские. И так все идет в доме, будто деньгам счету нет. О деньгах же не говорят. Деньги здесь, как невидимые слуги. Старик Иринин важный ходит; здесь, там слово скажет, на дочку Дашу любовно поглядывает, а Семена всячески приголубливает, трусливого, его одобряет. А солнце в вечерних комнатах – Даша. Вся жизнь от нее. И вся сказка для нее. И такая она умная, такая красивая. И все к ней. Только кажется подчас Семену, что слишком бойка.

Вечерами здесь счастлив Семен. И лирика счастья его тиха; он влюблен, и ласково смотрит на него Дарья. И хохоты-крики счастья его нахально громки: в какой дом принят Семен! Как свой здесь. И все догадываются, что он – жених. И сам он о том только догадывается.

– Семен Яковлевич, вы любите оперу?

– Нет-с. Так себе. Но в Москве Большой театр очень хорош. Изволили бывать?

– Ха-ха-ха! Нет! Вы Семену Яковлевичу шампанского не наливайте. Он только мадеру любит. А вы любите женщин, Семен Яковлевич? Не лгите. Очень любите? Не люби ты его, Даша. Он скоро в меня влюбится.

Так дразнила Семена за ужином Настя Бирюлина.

И краснел Семен. Не любил он ее.

А после ужина отец Настасьи, рыкающий толстый генерал, прокричал весело Семену из-за карточного стола, искренно желая посекретничать:

– Скромный молодой человек. Одобряю. Толк выйдет.

И прибавил уже тише:

– Стучу.

Играли в стуколку. Играли и старые и молодые, потому что старых было мало.

Да и игра веселая. Но денег проигрывали при случае не мало.

– Семен Яковлевич! Присаживайтесь.

– Извините. Не играю.

– А вы не бойтесь. Всего капитала не проиграете. Сдать?

– Не играю-с.

– И одобряю. И одобряю, молодой человек. Я в ваши годы тоже не играл. Остерегался. Так-то-с, молодой человек.

Но генерал лгал. Хотя искренне. Девушка одна пробежала, сказала:

– А вы Макара Яковлевича опять приведите.

– Да. Что это он не идет!

– Только раз был.

– Это вы его не берете.

– Ревнует.

Подхватили.

– А у вас и еще братья есть?

– Их много братьев.

– Макара Яковлевича приводите.

Затемнилась душа Семена. Вспомнилась беседа с Макаром. Нехорошо говорил Макар о доме Ирининых, побывав там раз. Семен повез, уговорил.

И часто разным огорчает Семена Ирининых дом. Но все же счастлив Семен вечерами. Домой едет – душа его разнолика. Домой придет – не то скучно, не то счастливо ему. Ночью разное. И женское, и не женское. Но утрами Семен – мученик. Дом отцовский разноголосно упрекает. Стены шуршат, тьму в мозг нагоняют. Дня не видно. Железный старик, тень его, здесь. И все об одном говорит железный старик. И жестокие слова его – не слова, а шуршание. И шуршание стен не шуршание, но Семеновы думы-упреки.

«Куда идешь? Куда идешь? Смеются над тобой, над дураком. Музыки захотел. Французских слов.

Железное дело не по тебе? Много узнал! Что? Отца заменить можешь? Можешь? А?

Может быть, братья тебе помогут? Братья твои? Не Доримедонт ли? Молодец, Семен. Далеко пойдешь. Учи французские слова. Чего в стуколку играть отказываешься? Мазурку хочешь?

Так и отец твой прыгал. Точно так по гостям бегая, с девушками бальными разговоры разговаривал. Только тем и дело всероссийское поставил. Валяй, Семен! Наша взяла, дурацкая?»

И круглы были глаза Семена. И испуганно-раскайнно глядели они в утренние стены дома на Торговой.

Встанет, умоется, оденется. Пытается себя думами о делах наполнить. Рожнова старика вспомнит. С ним сейчас надо.

«Да уж и не так мало в делах смыслю. Не братьям чета. Разве только Макар. И чего Макар к делу вплоть не подойдет? Сразу бы меня за пояс заткнул. Но посмеивается Макар. И что он в себе таит? А таит. Большой человек Макар. Кабы мне Макарову душу небоящуюся».

Думает так Семен, к Рожнову на дело спешит, листы с цифрами разные вспоминает, книги шнуровые строгие. А тут вдруг Дарья весело-прекрасная, в петербургском платье с лицом непонятно добрым. А могла бы быть она с ним, с Семеном, строга и капризна. Как та, генеральская дочь. О, добрая Даша. Любит?

Так задумывался Семен по утру. Так дергали нити жизни его душу.

«К Рожнову. К Рожнову. За дело».

И горьки были утра раскаянья. А бывало это в шесть часов.

И сидел с Рожновым в конторе. И переходили в кабинет. И опять спускались в контору. Там разные люди. И ловко Агафангел Иваныч управлял словами Семена, молодого хозяина своего, старик многознающий.

ХП

– Ну, Вася, скоро прощаться тебе с нами.

– Прощай, Вася.

– А вы меня, сестрицы, с собой возьмите.

– Да куда же тебя взять? Одна в Москву, а другая в Петербург.

– А я сначала у тебя поживу, я Петербурга ведь не видал еще, а потом к Любе, в Москву. А в Москве хорошо. Счастливые вы, да и братья счастливые. Один я. Все разлетитесь. А мне здесь с Корнутом с горбатым нянчиться.

На Василия Феня, сестрина горничная зашипела:

– Ах, барчук! Ах, барчук! Какие слова выговаривает! Горбатый. Можно ли? И никакого горба нет. Ни этого горбика. Грех-то какой. Про братца-то.

– А тебе бы сейчас горб с комод с этот. Подожди. Вырастет Корнут, и горб вырастет. Дура, зеленая лошадь!

– Грех-то какой! Накликаете.

– Не мне грех. Я, что ли, его с лестницы спустил?

– Ну, будет вам. А ты, Вася, не скучай. Только мы и уезжаем. Все здесь. И Вяча, и Федя, и Дормидоша. А Семен с Макаром хоть тоже замуж выходят, только здесь останутся.

– Что это вы, барышни, какое говорите: замуж выходят! Это вы замуж выходите, а братцы женятся.

Засмеялась комната сестриним смехом.

– Про Семена думала. Он мне невестой представился.

– Да. Семен...

Смолчала Анна. Смешон брат. Но люб он ей.

– И что за барышни, за пересмешницы. Чем не жених Семен Яковлевич? А и то сказать: Макару Яковлевичу уступить. Да, ведь Макар-то Яковлевич...

– А знаешь, Феня, ночью мы говорили, решили не брать тебя. Ни в Петербург, ни в Москву. И узелки тянуть не будем. Здесь оставайся. С мамашей. Или Васю причесывать будешь. Уж больно он тебя любит.

– Тьфу!

А Феня застрекотала. И искренен был испуг ее, и более того притворен, для угождения.

– И что это вы, барышни? Обещались-обещались, да и на попятный. Так, значит, мне столичной жизни и не увидеть.

– Как ушей своих.

– Здесь погибай, зеленая лошадь.

Это Васька злобствует на судьбу.

– Чем же я провинилась, барышни? Только и вам трудно будет спервоначалу. Привыкши.

– Нет. Решили уж. Оставайся. Скучно будет. Новую жизнь начинаем. Так пусть уж все новое. А от тебя домом пахнет.

– Уж и скажут. Каким таким домом пахнет? От меня духами вашими пахнет. Вся дворня дразнится.

Растолковывали, смеялись, Васька язык высовывал, над зеленой лошадей издевался. Утренне-солнечные стены пахли девичьими снами и весело улыбались, шептали:

– Скоро, скоро весна придет.

А лики в божнице в угловой что-то темны. Или потому это, что издавна вобрали они в себя скорби глаз человеческих. От прабабушки иконы. А кто она была, уж и забыли все. И когда.

И Любовь с Анной, когда веселы, на иконы не взглянут. А часто по ночам обе глядят, друг дружку не видя. И однолико-скорбны думы их тогда. Будто что-то неразумное и, как судьба, сильное, будто что-то скучное, желтое, как Фенино лицо, когда та будет в гробу лежать. И помолятся ночные сестры без слов. Страшна словесная молитва: вдруг не того попросишь, а оно и сбудется. И плакаться не на кого. Помолятся сестры и уснут. Засыпая, обе душами шепчут:

– Пусть хорошее случится. Пусть хорошо нам будет.

Проснутся утренние сестры, в глаза друг дружке взглянут, улыбнутся. О будущем молча побеседуют. А потом и словами. И о разном помечтают. Ни плохого, ни страшного на путях жизни найти не могут.

– Только бы не скука эта.

– Да, уж хуже не будет.

Замуж выходят сестры. Любовь, старшая, за Брыкалова. Мануфактурное дело в Москве большое. С братьями. У Брыкалова осанка солидная, сюртук на нем длинный. Влюблен – не влюблен, а смотрит ласково. Усы белокурые, пушистые, большие. Руками чинно поводит. Слов в меру знает.

А про Шебаршина, про Аниного жениха, Феня говорит, пальцы свои желтые целует:

– Не жених, а картинка.

У Кузьмы Кузьмича Шебаршина в Петербурге завод какой-то. Слышно, денег много. Ходит – ноги не связаны. Разговор обо всем. Приехал на Волгу, говорили о нем:

– Петербургская штучка.

– Да, они, заводчики, калачи тертые.

– Ума достаточно.

– Да и капиталу тоже.

– Да, уж это тебе не Сампсонов.

Обручены сестры. Без торжества: траур. Женихи требовали. По делам уехали. Так спокойнее.

А про тех, про других женихов, уж и не слышно. Говорит Анна:

– А я, Люба, в Кузьму влюблена. Не веришь?

– Да уж верю, Аня.

ХIII

Горюет вдова железного старика. Сердце ее по ночам разрывается. Любит она Корнута. Младшенького своего. Вот ведь девять их с дочерьми. Живы бы все остались, было бы тринадцать. А кого любит? Люба с Аней ближе были. Но то давно. Ну, Семен тоже доньне почтителен. На него с Макаром надежды материнские полегли. Стариком-главой бесслвно отмечены.

Но Макара не полюбишь. Смолоду колючий, к старости железный тоже будет. Доримедонт? У того ласка – не ласка. Придурь какая-то. И еще: с рождением второго в старухиной памяти спутано нехорошее. Те двое, Федор с Вячеславом, за стенами, как кони, ржут, как кони по городу носятся. Страшится помыслить о них материно сердце. А Вася к ним давно, к тем двум, льнет. Ну, пока еще сестры отклоняют. А замуж повыскачат... Эх! Разве Любе отдать – упросить? Не уберечь его здесь... И чуёт-мыслит старуха жутко-раскаянно:

– Моя вина. Мой грех, мой грех материнский.

И еще чуёт-шепчет:

– Поздно теперь... Или не поздно? В хорошие бы руки отдать Васю. И Вячеслава можно еще. А то что на стороне-то? При матери-то все лучше, ан при матери-то худо. А может, не худо? Выправятся: вон Сема да Макарушка каковы. Хоть и разные, а что про них худого скажешь.

И обманывает себя вдова, на краткий час тешит. Думы закружатся по Счастливым кругам. И опять к прежнему страху-ужасу подойдут.

– Феня! – кричит. – Или Матреша! Кто там? Поди сюда. Позови ты ко мне Агафангела Иваныча.

– Слушаю-с. Сию минуту.

И ушла ли та, не ушла ли, не видит мать, думы свои словами раздумчивыми комнате отдает; комнате, далеким гулом гудящей.

– С Рожновым опять поговорить. Пусть старик рассудит. Ох, сыны, сыны... Трое вас опасных у меня.

А с опасных думы-шепот на любимого.

– Корнут. Корнутушка не то. Маленький он. Последненький. Как хочу, так и поверну. Семь годочков мальчику милому. Подождать бы немножко, да и за учење. Денег теперь сколько хочешь. Спрашиваться не у кого. Учителей бы разных, профессоров из Москвы. И здесь, при себе. Генералом сделаем, губернатором, или чем сам там захочет. Ох, Корнутушка. Горбик у Корнутушки растет. Домна, нянька проклятая. Всех вынянчила-выкормила. А любименького моего Корнутушку... Что бы тебе, дура, Федора разбойника... О Господи, прости согрешение невольное.

– Вот и я. Кликать изволили?

Это Рожнов, мудрейший Агафангел Иваныч. И пойдет у них беседа про Федора да про Вячеслава. И поговорят о строгости и о почитании. И железного старика вспомнят. Но не долго обо всем этом. Старик Рожнов к делу привык, настоящее дело любит. И переведет он беседу на Семена Яковлевича и на Макара Яковлевича. Далеко им до отца, но все же люди не пропащие. А о пропащих не стоит ни говорить, ни думать. В семье не без урода. Так, из почтения ко вдове можно слова раздумчивые произнести.

«А мы на Семене да на Макаре Яковлевичах речь задержим. Пусть привыкнет, что у нее только двое сынов, а у фирмы двое столбов, на ком стоять будет. Впрочем, женщина она не деловая, не приученая. Ну да все-таки».

XIV

Уехали Семен и Макар, женихи женихаться. Федор с Вячеславом давно пропали-пропались. Васька – где он? Да и к чему? Сестры?.. А, ну их!

Скука мухой неугомонной звенит в дому.

И ходит-бродит Доримедонт по комнатам. Царство заколдованное. Кое-где лампы светят, обои стен и мебель обманно озаряют.

Но то не лампы. И то не комнаты дома на Торговой, Маяки на синем море-окияне. Где маяк, там скала. Где скала, там смерть неминуемая. Плывет корабль-парусник по морю-окияну.

Бродит Доримедонт по отцовскому дому вечернему. Во тьме отмель чувствуется. Наплывешь на отмель – беда. И обошел пушистый ковер гостиной. Держись! Узкий пролив. В залу дверь чуть приоткрыта. А в зале ночь на море. И в залу проплыл корабль осторожно. Не дай Бог о скалы отвесные поломаешься. Фу-ты! В Ледовитый океан заехали.

И стал корабль-парусник воздушным кораблем. Через отмели, скал отвесных не страшась, в коридор побежал.

– Феня, Матреша! Кто там! Дров сюда несите. Холод какой!

Дрова березовые. Лучин не надо. Кору сдирает, радуется. Поленья разобрал. Вперед помельче, а те сюда. Любит Доримедонт печи топить.

Затрещало. Отошел. Не любит печь духа человечьего поначалу. И пошел корабль по Ледовитому морю-окияну. Крейсирует. Мало ли где что нужно. Невидимые ждут Доримедонта. Причаливай!

Растрещалось, разгорелось. Сидит Доримедонт на полу у печи отверзтой, кочергой разумно пошевеливает.

– Вот Федя с Вячей курят. Хорошо бы и мне: у печи хорошо бы. Ух, здорово разгорается.

Пошевеливает когда нужно. Любит Доримедонт печи топить. И вдруг замолкло. Опять серебряной мухой надоедливой скука прожужжала.

– Да. Скучно.

И поглядел в огонь печи, туда, далеко, где нет ни дома, ни людей.

– Скучно... А я тоже женюсь. Вот-те и весело будет. Коли я дурак, то и они дураки. Брат я ведь. Возьму жену самую лучшую. Из Петербурга, так из Петербурга. Хорошо бы жениться, право.

А в печке изразцовой дрова разгорались.

– Женюсь и я! И весело же будет. Те и не догадываются. Женюсь раньше их всех, невесту выдумаю. У, какая невеста моя! Только где такую достать? Чтобы вся в золоте и в парче золоченой. Уж найдем.

А печной огонь пуше с жертвенными дровами играл. И видит Доримедонт будто судьбу свою в печном пламени. И встала-предстала девица-красавица. И пропала. И смарагд-камень расплавился в печи, и вся пасть печи отверзтой стала смарагдовой. Скучно и страшно Доримедонту. Но у печки весело.

– Женюсь-ка и я.

А смарагд-камень – Доримедонтов месячный камень. И про то Доримедонт знает.

XV

Горюновых дом, где Макарова невеста живет, Горюновых дом с мезонином у церкви, скучен сегодня. Страстная неделя, может быть, потому.

Весь пост постное ели. На первой и на четвертой и рыбы нельзя. А Страстная неделя голодная. И в церкви стоят по многу часов. От постного масла желты лица стариков богомольных. Ноги дрожат. И безвольно злы старики. И так души непокойны.

Но старший сын Михайлы Филипповича Горюнова, Савелий, однажды, два года тому, под Пасху ушел. И теперь нет его. И в ладане, и в звоне колокольном, и в ожидающей тишине Страстной – вспоминается Савелий, старший сын. Где-то он? На дому купеческом, на деревянной крыше его громадный камень лежит. И камень тот – скорбь родительская. И еще камень тот – позор, по городу шепчущийся. Грешно в такие дни злобе волю давать. Но сильно в человеках человеческое. Собираются старики в церковь, шипящими словами перебраниваются, Савелия вспоминают, упрекают остро друг друга. И часто в речах их слышится:

– Ведь ты отец-то ему.

– А нешто ты не мать?

И Раиса, невеста, в церковь собирается. Тиха она ныне.

Пелагея же давно вышла. Она в церкви до службы. Как сторож пройдет, ключи перебирая, – ей видно.

А из дальней комнаты, маленькой, голоса детские бегут, плач ли. То Сергей и Дорофея. Последышей старики породили, Сереженьке четвертый пошел, Дорофеюшке и году нет. Ну, да уж больше не будет.

Над церковью Святого Георгия тяжелый звон. Редкий, ударный. И повсюду над городом звоны. И из заволжских сел. В черных ризах по церкви тихо-скорбно ходят, в руках свечи желтые, огонечки их скорбно-молитвенны. Молится Раиса о будущем своем. Душа ее тиха и разумна, как человек. Решение приняла девица. Старики ее поклоны кладут усердно. И тцатся мыслить лишь о воспоминаемых ныне великих страстях. И шепчут-повторяют слова молитв. И качаются их желтые лица.

Из церкви пришли. Письмо их ждет. Словно чудо какое. С Афона письмо от сына Савелия. Да не тот же ли день был? Так и есть. Вот к чему вспоминался. Словно чудо какое. Ну да и ранее вспоминался. Конверт под печатью белую, бумага серая.

«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Благодать Господня на вас».

И оповещает Савелий родителей почтительнейше о том, что решение его непреклонно, что останется он в Святом месте сем Господу Богу служителем, за них, за отца с матерью, по гроб молитвенником, а когда срок минет, а срок не за горами уж, и чин примет. А ранее не писал по причине слабости духа, соблазнов мирских боясь, а паче родительских отговоров. Но ныне Господь ему, непоколебимо решившемуся, словами старцев разрешил.

Письмо умиленное. И при письме карточка под лаком: «Святая гора Афон».

И тихо плакали старики. И призванная в зальцу Пелагея шептала-говорила, крестясь:

– Слава богу! Слава богу! Братец сподобился! И меня теперь благословите.

Раиса молчала.

И хлынула в души стариков благодать.

И дрожащими руками передавали они кругом сыновнее письмо и святую картинку. А сидели все у преддиванного стола. И когда в руках одного была картинка, другой тянулся за письмом. А когда долго ни письма, ни картинки не давали Пелагее, она держала конверт, молитвенно глядя на белый сургуч печати.

А к святой картинке все прикладывались устами.

И велика была благодать того дня в душах трех. И упрекали себя старики за дурные мысли о сыне, и вспоминали все тот день, когда увидел кто-то на груди Савелия большой медный крест, ремнем через спину к телу прикрепленный.

– И тогда вериги носил.

И думали все трое о божественном.

Раиса же, потрясенная, гневалась на далекого брата. Зачем отвел мысли от повседневного.

И так прошел день. В ночь впервые хлынула горлом кровь у Пелагеи. И тихо стонала в мезонине и не звала. И утром бледную ее увидели. И увидели кровь. И была Пелагея в забытии.

XVI

Радостными пасхальными звонами веселилась малая церковь сельская деревянная. Волга лед свой сломала. Дружная весна. Послеполуденное солнце в останний снег ударяет. Звенят ручьи.

В кирпичном флигельке именица Лазарева проснулись Федор с Вячеславом.

– Здорово, помещик!

– Здорово, помещик!

Похохотали хриплым смехом каменным, похмельным.

– Важно мы вчера. А этот поп Иван – не дурак.

– Да уж не даром на старости лет из самарского собора в медвежий угол попал.

– Эх, жизнь помещичья.

Похохотали.

– А что, Вяча, сказать, что ли?

– Это про что?

– Ну? А про письмо-то?

– Да что письмо? Не хочешь сказывать – от кого, и не надо. Вот невидаль.

– Ну да уж скажу, Вяча. Вчера не хотел, сегодня скажу, пораую братца.

И голос свой Федор на хриплый шепот перевел:

– От Веры, от Таракановой, письмо. К нам едет, уж выехала. Сегодня к ночи здесь.

– Ну? Не врешь?

– И не одна. А с кем, сам догадывайся.

И хихикнул Федор. Закраснелся Вячеслав, на кровати привстал.

– С Машей? Да не томи ты.

– А то с кем же? То-то гульнем!

И начали братья вставать-одеваться. Хохочет Федор каменно. И глаза его открыто хищно красны. Вячеслав влюбленно взоры отводит, сам брата стыдится, что перед ним, перед молодцом, он как девчонка.

А Федор по комнате шагает, со стана своего могучего сон стряхивает.

– Эй! Кто там ножищами шлепает? Закусить приготовить. Помещики от сна встали. Слышь, что ль...

– Сию минуту.

– А только, Федя, ничего это? Не нагорит нам?

– Это про что?

– Дома бы не узнали.

– Вот трус. Не семилетние мы. Помещики называемся.

В комнату радостный свет рвется, радостный звон в стены каменные кидает.

Третью неделю братья в Лазареве живут. Это то именье, которое железный старик у Сампсонова купил. Имение раньше большое было, давно, при Шереметевых еще, из рук в руки переходя, урезалось; Сампсонов уже малым клочком земли владел. Но усадьба с большим домом недостроенным, со службами разрушающимися, со всякими угодами забытыми, велика. И велик и красив парк прихотливый, с рытыми озерами.

Переселение братьев произошло так: страшны стали матери старухе-вдове доносы на сыновей ее, на Федора и Вячеслава. А доносы шли отовсюду.

Почтенный купец-старик, в сторону глядя и покашливая, слово закинет про Заречье. Рахиль, монашенка молодая, но степенная, чай пия, на дверь оглядываясь, благодетельнице про ужасные ужасы шепчет, головой кивает, руками разводит.

– Только вы очень-то не пугайтесь, матушка. Дело молодое, может Бог-то еще и вразумит. Пантелеймону-угоднику молиться, матушка, надо. Ну а в народе, точно, плохо говорят. За что купила, за то продаю. А на Тараканиху-ехидну эту губернатору пожаловаться надо. Разные дела за ней числятся.

И еще доносы от разных людей верных бывали. Про пьянство, про дебоши, да про долги. С пути Федор сбивается, Вячеслава за собой в яму черную тянет.

Страх в душе материнской непрерывный поселился. А ни сил, ни уменья нет. Федора грубого и злого сама давно боится, а Вячеслава призовет, начнет выговаривать, а он:

– Да что вы, мамаша? Кто это вам наговорил-нажаловался? Когда это вы меня пьяным видали?

И точно, не видала. Но ложь чует. И страхи материнские, и предчувствия растут. А Рожнов, умнейший старик, огорчает:

– Нет уж, увольте. В конторе у нас им дела найти не сумею.

На Благовещение в посту отец Лев, протопоп, пришел. Старец мудрый и душевный. Давно бы отцу Льву архиереем быть, но матушка его безумная жива. Много лет несет старец крест свой. Безумную жену свою, слов не говорящую, подобие божеское утратившую, не отдает отец Лев в сумасшедший дом. Сам за ней присматривает, молитвы читает. И глубокая грусть навсегда в любящих, в тихих, в запавших очах старца.

И разговорилась мать огорченная с протопопом искренне. И присоветовал протопоп, размысливши, жить блудным сынам в имении Сампсоновском. От соблазнов вавилонских подалее, к земле поближе, а следовательно, и к Божьей правде ближе.

И добавил протопоп:

– Можно бы средства и подействительнее выискать. Но то лекарства горькие, и сильную руку от Бога иметь надо, чтобы лекарства те чад своих выпить принудить могла.

И взглянул отец Лев мудрейший на стенной портрет железного старика. И тотчас послал ласковые взоры свои грустные в глаза вдовы-матери.

И поняла. И почуяла стыд упрека, и почуяла радостную надежду. А к ночи успокоение затихла, когда, после беседы с Вячеславом, прошептала:

– Вот и слава Богу. Слава Богу. Без борьбы приняли. А я-то, неразумная, боялась. Недаром отец Лев восьмой десяток доживает.

А с Федором говорить боялась. Вячеслав бегал.

Была еще беседа втроем. Она, Семен и Рожнов в кабинете заперлись на час. О деньгах беседа. Успокоил Рожнов:

– Тянуть еще можно. И после совершеннолетия Федора Яковлевича. Так, малыми суммами снабжать будем. Отписаться сумеем. Но до крайности прижимать не резон: там близко Обжорин. Как бы не подманил на векселя. А этот почище Тараканихи. Он хоть сто тысяч Федору Яковлевичу даст. Только нам они в полмиллиончика обойдутся.

Семен слушал, молчал, конфузился. Макар на совещание не пошел. Узнав в чем дело, Рожнову сказал:

– А ну их к черту! Сократите вы этих балбесов. Умеючи, их вот как скрутить можно. И не пикнут. Что тут долго разговаривать...

И поехал в невестин дом, наполняясь своими мыслями.

XVII

Был у Макара с матерью разговор. Старуха одна после обеда в спальней сидела, на иконы глядя, тоскливо о Корнутах мыслила. Вошел-вбежал Макар деловито.

– Я, мамаша, день свадьбы уж назначил. Тринадцатого венчаюсь. Так вот, сообщить пришел. Времени уж немного. Всего неделя. Вы уж, пожалуйста, что вас касается, оборудуйте, похлопочите.

Заморгала мать часто-часто. Напугал ее сын. И не сразу заговорила.

– Тринадцатого? Что ты? Что ты, Макарушка? Ведь двенадцатого, в Преполовление, батюшка наш скончался. Двенадцатого только срок траура. А ты...

– Так ведь я тринадцатого...

– Бога ты побойся, Макар. Шутишь, что ль!

– Толком вам, мамаша, говорю: не одиннадцатого и не двенадцатого, а тринадцатого венчаюсь.

– Да что это ты, Макарушка, сразу. Напугал-то меня как. Почитай, два месяца о свадьбе не заговаривал. Я уж думала, дурь-то вышла. А тут – тринадцатого.

– Я бы просил, мамаша, о невесте моей такие слова не говорить. А то привыкнуть можете и через неделю опять такое скажете. Тогда оно совсем нехорошо будет. О моей супруге, своей невестке, скажете. Так-то.

– Не мучь ты меня, Макар. Какие слова?

– Про дурь сказали. А ранее того, помните, тогда и еще разное. Так вот и говорю, что пора от этого отвыкнуть.

– Макар!

– Что, мамаша?

– А то, что нет тебе моего благословения.

– Как угодно. Но только дозвоьте сказать, что это глупости.

И страшное лицо стало у матери. И за поручни кресла ухватилась.

– Конечно, мамаша, лучше все по-хорошему. Ну, что такое: нет на то благословения вашего? Все равно попы повенчают. А по городу слухи пойдут. Мне на слухи эти, простите, наплевать, потому что ведь вас же осудят. Ведь Раиса Михайловна не нищая какая-нибудь, не изуверка, и дурного про нее никто не скажет. Я тоже не шарлатан. На Федора, братца моего, а на вашего сына непохож. Кого люди осудят? Как полагаете, мамаша?

– А тринадцатого-то? Тринадцатого-то как же?

– Очень просто. Ни траура не будет, ни поста. И день даже не постный.

– Макар! В Преполовенье година.

– Так ведь тринадцатого.

– Грех-то какой. Никто так не женится. Людей постыдись. Ну, к осени еще можно бы. Ну, даже летом можно. Хоть месяц подожди.

– Я так вам скажу, мамаша. Ни одного дня ждать не буду. Если бы нужно было год с месяцем траура быть, так бы на соборах и установили.

– А усердие... А печаль твоя сыновняя...

– Но не будете же вы, усердия ради, Страстную неделю в двадцать дней считать. Все по закону.

– Ах, Макар.

– Вы лучше, мамаша, все это дело спокойно обсудите. И похлопочите, прошу вас, насчет всего, что от вас, как от матери, требуется.

– Слушай, Макар. Первая свадьба Александрина назначена. А второй бы лучше Семеновой быть. Старший он.

– Ну, уж это, мамаша, пустяки. Даже слушать странно. Так вы, пожалуйста, мамаша. Обед и билеты – это уж я похлопочу. Ну, церковь тоже. Но и вы тоже, как мать...

И вышел Макар, ласково матери улыбаясь.

– Да где ты жить-то с женой будешь? Здесь, что ли?

В догон сыну слова.

– Позаботился, мамаша. О том не беспокойтесь. Мы в Москву сначала.

XVIII

Горе-то какое. И можно ли пережить такое горе. Сидит Александра, сестра железного старика, девица старая сидит на неприбранной кровати, так, кое во что одетая, глаза в стену глядят. Ни о жизни, ни о смерти не думает, людей не сторонится, но людей не замечает.

Странное случилось. Умер Сампсон Сампсонов, франт петербургский, смешной тети Саши жених молодящийся. Из клуба в гостиницу к себе ночью приехал часа в три. Утром мертвого увидели. Близ кровати, на полу. Только сюртук снят, на стуле висит. И дверь не заперта.

Родные тетю Сашу жалеют.

Легко ли ей, бедной.

По паспорту Сампсонова адрес петербургский разыскали, депешу послали, оттуда ответная: «Земле не предавайте повезу тело Петербург свинцовый гроб выезжаю Глафира Иванова».

Какая Глафира Иванова? Кто у него там? Но все, как приказано, исполнили. Ждут. И приехала. Женщина пожилая, тихая. Из простых, верно. С тетей Сашей говорила-плакала. Несчастливая невеста к тому дню не успокоилась, нет – но говорить начала разумно. И выяснилось, что у Сампсонова с Глафирой в Петербурге трое детей. Десять лет семьей живут. Только не венчаны, но как муж и жена. Об Александре покойник ей говорил, и что свататься едет говорил. Для поправления дел. Тогда про семью и про Глафиру решил молчать.

– Ну а теперь что лгать, грех на душу брать. А покойник меня с детками несколько обеспечил. В банк на мое имя давно положил. Когда были деньги. Но немного, конечно. А покойника я очень любила, и память по нем сохраняю. И тело в Петербург повезу. Чтобы у деток отец был покойничек. А детки хорошенькие да умненькие. В отца.

И беседовали. И плакали обе. И Глафира жалела Александру. А были они одних лет. И, взявшись за руки, на диване сидели, на клеенчатом, в доме Александры, на горе. Только что отделали домик. Краской пахнет. Хотя окна открыты. Воздух весенний, сладко-горестный. Вороны суетливо по деревьям кричат-мечутся. И из сада землей пахнет.

Александра, как очнулась, в свой домик переехала. Не то чтобы переехала, как люди переезжают, а из церкви с панихиды выйдя, на извозчицью линейку села, на гору поехала, в домик свой вошла. А там никого. Лишь в саду, во флигельке, – сторож. Присылали за Александрой Матрешу-трясогузку, в дом звать. Та говорит:

– Нет. Я здесь.

Тогда Матрешу к ней определили. Пусть присматривает. Любовь с Анной, племянницы, тоже навещаются.

И уехала Глафира, Сампсона своего в свинцовом гробу повезла. И Александра ехать хотела, но расхворалась, слегла. Двинуться не может. Но плачет мало.

Накануне свадьбы своей Макар утром к тете Саше в шарабане, в новом, на Ветрогоне приехал, а свадьбы своей Макар не откладывает.

– Мы Сампсонова без году неделю знаем. А с домом нашим он еще не породнился. Тут и спору быть не может.

Приехал Макар к тете Саше. Та лежит. И не плачущая, не грустная, а как бы неживая. Поговорил, пособолезновал племянник, ответила она ему словом каким-то. И молчит. И слушает ли? А потом перебила речь Макарову.

– Привези ты мне канареечку.

– Какую канареечку, тетя?

– Канареечку-птичку. Пусть поет. Тихо здесь очень.

Говорит однотонно. И шепелявить меньше стала. Внятно так:

– Привезу, тетя. Непременно привезу. А я с вами поговорить хотел, тетя.

Молчит.

– Продайте, тетя, мне этот дом. Не будете же век здесь жить, одна-то.

– Нет. Я здесь.

– Ну, сначала здесь. А потом ведь к нам в дом переедете, назад? Что вам здесь делать одной?

– Здесь буду.

– Здесь, здесь. Не всегда же, говорю, здесь, черт возьми... Продайте, говорю, дом. Мне продайте.

Молчит тетка. Тусклыми глазами поводит. А Макар ей:

– Я вам денег дам.

– Не нужно мне.

– Ну, даром отдайте. Но ведь я не прошу даром. По расценке. А вам дом теперь не нужен.

– Нужен мне. Я ведь здесь.

– Тетя! Я понимаю. Вам грустно. Вы с ним хотели здесь жить. А он помер. Потому вам и кажется, что нужно вам здесь жить. Но ведь это пройдет. Грусть-то ваша пройдет. Тогда к чему вам дом? Уступите, тетя.

Испуганно забегали-замигали глаза Александры. В постели она заворочалась.

– Оставь ты меня. Я здесь.

И губы дернулись, как перед плачем.

Едет Макар злой в шарабане. Ветрогона вожжой бьет, а ходу не дает. Храпит тот, красным глазом косит. До Георгиевской церкви доехал Макар. Рассмеялся.

– Вот оно что.

И круто повернул. Назад погнал. Пальто не снимает. Шляпа-кепи в руке.

– Вот что я, тетя, надумал. Конечно, лучше вам здесь жить, коли желание ваше таково. Память и все такое. Но вот что я вам предложу: остальное место вы мне продайте. Я тут дом хочу строить. Вам же приятнее. Соседи будут. Родня. А вы здесь. Вы здесь. Не беспокойтесь. Здесь. Всегда здесь.

– Я здесь. Да.

– Вот и хорошо. Согласны? А я вам денег дам.

– Не нужно мне. Только я здесь.

– Зачем даром? Расценка. Я к вам Агафангела Иваныча на минутку пришлю. Согласны, тетя? Право, в ваших выгодах.

– Как хочешь. Только здесь я буду.

– Здесь, здесь, тетя. До свидания. К вам на минуточку Рожновзаедет. Поправляйтесь, тетя.

И весело рысил Ветрогон, и насвистывал Макар:

– Я цыганский барон...

XIX

Скука серебряной мухой в доме звенит. Лето давно. Волгу могучие пароходы баламутят, встречаясь, свистом протяжным режут. Барки черны, мачты на них высокие. Беляны белые, веселые. Коноводки брюхастые, тихоходные. Плоты сплавные, бесшабашные, всем мешающие люди на них хриплыми криками кричащие. Того гляди наплывут.

Берег луговой зелено-весел. Далеко-далеко видно. И все там зелено. Церкви белые. Десятка два насчитать можно.

Вася по берегу бродил. По своему, по нагорному. Суету пристаней любит Вася. На кули сядет. Присматривается. Ловко татары носят. Но и русских силачей не мало. Сгонят Васю, на другое место перейдет. Но уж прискучило. С весны ходит. Домой!

«Вот дворяне, те на дачу летом уезжают, коли у кого имений своих не осталось. Раздолье. В Лазареве не пускают. Знаю: боятся. Да хоть бы с нянькой. И Корнута бы взять. Подлецы. Дачу бы наняли, что ли. Ну, дача денег стоит. Скучно здесь. Маета одна».

Посмотрел Вася на Заволжье долгим взглядом, сонным.

– Туда махнуть? Можно бы до обеда. И деньги есть. Восемь гривен. Вот они. Да не то это.

И зевнул. И домой через сад. Сад не маленький. И деревья-старички есть в нем. К реке мало не доходит. Дорога там набережная. Забор дощатый. За забором товары везут, покрикивают по-городскому. Дальше к дому пройти – не слышно, правда. А у дома террасу плотники строят. Большую. Это Макар сказал:

– Здесь террасу нужно.

Женился Макар. И сестры замуж вышли. Недавно. Уехали, Васю не взяли.

«Просил их серьезно. А они за шутку поняли. В шутку и вышло. Здесь, что ли, посидеть?»

Но в дом прошел. Плотники – занятно. А не хочется. И вчера видел. Скучно. Скучно. И по пустым комнатам прошел. И наверх.

– Что окон, нянька, не открываешь? Духота.

Домна Ефремовна, нянька, с Корнутом беседует. Вася к ним. А Корнут маленький няньке:

– И мне такую свадьбу, как у Макара. И красный ковер.

– И Корнутушке красный ковер. Корнутушке мы ковер золотом обошьем. Вот как. У Корнутушки невеста принцесса будет.

Что-то шерстяное Домна на спицах плетет.

– А обед у меня на свадьбе какой будет?

– А обед на Корнутушкиной свадьбе будет...

И сочиняет нянька разное, счастливо дремлет, спицами водит, спину на солнышке через стекла оконные греет. Ревматизмы.

Не дослушал Корнут. Лошадь картонная без кучера. И упал, на бок повалился павлин с настоящими павлиньими перьями.

А похороны у меня, как у папаши, чтоб были. И медали чтоб несли. И много народу.

– Что ты, что ты, Корнутушка, Бог с тобой.

– Нянька, а ты сзади иди. В черном платье. И платок черный. А на твоих похоронах я пойду. Шуба у меня большая будет. И везде медали-ордена. Пойдешь, нянька?

Голова нянькина из стороны в сторону закачалась. Улыбка раздумчивая спицы запутала.

– Ах, Корнутушка. Ангелочек ты Божий. С орденами, говоришь, пойдешь? Вот-то мне радостно, грешной, будет.

– Глупости вы болтаете. Тьфу.

Это Вася.

– Нянька, скучно мне.

– И что за скука. Делом займись.

– Каким делом?

– Не маленький. Нам игрушки, тебе учеба. Книжку нам читни. Послушаем. Вон там книжки лежат.

Скучно Васе. Серебряная муха по дому летает. В окна бьет, звенит. От няньки ушел, от Корнута больного, бледного. Сел где-то недалеко. И ушли думы. Ушли думы из головы Васиной в стены отцовского дома. И нехорошо им там. Птицы молодые, веселые, известкой залиты, кирпичом заложены. И биться им нельзя. И вспоминает. Юный вспоминает. Не живший еще, как говорят люди. Ближко темные углы. Разные. И в темноту пошел. И вот невидимым видна его гримаса сладострастная. Невидимым силам дома железного старика. И не слышал Вася бормотанья няньки, и не слышал звенящего голоса Корнута... И ослабел Вася. И закачался. И были ли видения женские?... И стало скучнее еще. И тягостно стало. Но во тьме засверкало. Шары огненные.

XX

Женился Макар тринадцатого. По красному ковру из приходской церкви своей прошел с молодой женой в дом отцовский.

И за обедом музыканты играли. И к вечеру уехали молодые в Москву на поезде. Не купечески. Тогда еще многие старики боялись чугунки; даже если и по делам ехать. А едучи, крестились все.

И много цветов нанесли в Макаров вагон. И улыбался Макар. И еще разное нанесли. И была улыбка Макарова загадочна. Но не думал никто о загадках. Повенчались. И едут.

И поехали. Долго не выходил из вагона, толкался в мягких диванах его шум-говор людской.

Но полустанок дачный. Людей немного. Новые, незнакомые. Недолго. И засвистел, и туда вдаль заскользил, помчал. И победило свадебное одиночество. И рад был Макар. Но не был он рад счастьем, радовался он поцелуями, во тьме рожденными объятиями и думами, думами своими. А были думы его не о молодой жене только. О дворце своем думает Макар, о дворце на Александринном месте.

И скользит, грохочет вагон. И когда можно, думает Раиса, думает о своем, недавно-девичьей думой думает все то же. А думает о незавершенном девическом счастье своем в замужестве. И опять, и опять, и под кроваво-мерный стук вагона чудится ей разнолико, что в новом счастье ее ждет ее несчастье.

И едут и ласкаются. И коротка ночь вагонная. И длинна.

В Москве в Лоскутной остановились.

XXI

От Макара из Москвы депеша: «Выезжаем. Приготовьте».

Не ожидали. Удивились. Всего неделя.

Раиса бродит по номеру в Лоскутной. А номер богатый. Княжеский называется. Три комнаты, ковры, зеркала, золоченое дерево. Бродит Раиса по комнатам тем, на горничных натывается, на сундуки, на корзины. Шкафы, комоды открыты; белье, платье на стульях, на столах; покупки разные, многие и не разворочены, лежат, как из магазинов принесли. И запахи разные. Но резче всех запахов, запах не то дегтя, не то лака. То конская сбруя на диване разложена. От Циммермана. Набор серебряный, матовый. И часто смотрит Раиса на сбрую ту близорукими глазами. Постоит и дальше пойдет. Бродит Раиса, руки ее дергаются, губы кривятся. Горничная в чепце белом и в передничке, здешняя и своя, с Волги, в синем платье, спрашивают поминутно барыню про разное. А та им:

– Да, да... Хорошо...

И бродит. То тусклы близорукие глаза, то вдруг блеск стальной. Или видят незнаемое.

– ...Я муж царицы, муж царицы, славный Менелай...

И говор громкий. То Макар возвращается. Знобишин с ним. Пришли. Послеобеденно веселы.

– Раиса Михайловна, ручку.

– Раиса! Дуня! И долго же вы копаетесь.

– Пожалуй, барин, не поспеть сегодня.

– Как – не поспеть? В одиннадцать едем.

– Раиса Михайловна, а вы у нас заскучали. Ну, скоро вам дворец возведем.

Макар со Знобишиным с круглого стола на кровать все ссыпали, на столе большой-большой портфель разложили, бумаги разные перебирают, чертежи, сметы. Знобишин ловко на белых листах карандашом рисует, объясняет-кричит, посмеивается весело. А то вскочит маленький-кругленький, крепкий такой, и руками широкие жесты, плавные. И на Макара остро глядит. Тот сияет. И кричат оба, подчас лишь сами себя слышат.

И счастливо же нашел Макар архитектора. И как нашел. Тут же в столовой гостиницы, на второй день. Тот с купцами сидел. С двумя бородачами. И горячо им говорил, и так же руками разводил. А те его, посмеиваясь осаживали:

– Ты нам турысы-то не подводи. Да ты полегче. Да нам не дворцы, чай, а всего-навсего склады под крупчатку. Да нам, брат, Москву удивлять не приходится.

Слушал Макар. А через час Знобишин за его столом сидел. И сошлись. Поняли друг друга. А бородачи лакея подозревали, долго с ним шептались, головами качали таинственно.

Похлопывал себя Макар по ляжкам, приговаривал:

– Утешил он меня, Раиса. Доволен я. Вот они где, люди настоящие. Москва-то! Она, матушка, не деревня. Только копни, все, чего душа просит, найдешь. Мы, Петр Петрович, и подрядчиков здешних повезем. Все у нас московское, Раиса, будет. Петр Петрович, коньячку. Помолчи, Раиса, дай Петру Петровичу досказать. Так по-вашему, Петр Петрович, ренессанс? Ах, Раиса, как он стили знает. Не забудьте, Петр Петрович, ровно миллион. Ровно миллион. Но тут уж все: и мебель, и ковры, и посуда, все до гвоздя. Но уж ни копейки больше.

Слушала Раиса. Молчала, удивлялась:

– Как же так: весь миллион? А жить на что будем?

XXII

Плачет, плачет несчастный Семен. И строго смотрят на него стены дома отца его, отошедшего от земной жизни.

Спит Доримедонт на Макаровой кровати. На мягкой чуть похрапывает. С отъездом брата тише комната стала, задумчивее. Огонечек лампадный ласковее сон братьев оберегает. И дивился тогда Семен: уезжая, Макар и в комнату свою многолетнюю не зашел; на иконы, все дни жизни его видевшие, не помолился. Кое-что из вещей приказал слугам снести. И все. А Семен ему забытые вещицы после свадебного обеда подал.

– Вот, говорит, ты забыл. Возьми.

– К черту! Куда мне...

А были то книжечки потрепанные, зайчик фарфоровый, медальон серебряный с девическим портретом, пансионских времен, образки надкроватные, и еще разное. Была даже тетрадка Макарова писания, на дневник похоже.

Отошел тогда Семен, как мальчик застыдившись. Думал: брат спасибо скажет; думал: любимое. И день такой святой. В новую жизнь.

Но давно это было. Для Семена давно. Горе в душе Семеновой. И тяжело это горе в ночных стенах в родных. Там легче было, когда ударило.

Так было. У Ирининых в доме Семен жених. Давно все узнали. И всерьез, и в шутку: жених да жених.

И старик Иринин, купец – не купец, помещик – не помещик, в темном, в богатом кабинете своем, на тахте развалясь, не раз Семену ласковые слова говорил, ободряющие. И разглядывал сигарный дым, и улыбался чему-то весело нежный старик. И говоря о Семене, о дочке любимой говорил, о Даше.

И вошел однажды днем Семен в кабинет. Вошел бледно-решившийся, погибающе-радостный, помолчал и сказал свое слово. И встал важный старик. И пошел жениху навстречу, и обнял.

– Что же, Семен Яковлевич... Я рад... Я рад... Да благословит Господь, а я благословляю... Рад, рад... О счастья Дарьином позаботьтесь. Узнал я вас немало. И надеюсь...

И захлопал ладонями, и позвонил.

– Эй, шампанского нам сюда!

– А вы, Семен Яковлевич, к Даше пройдите. Дочери моей декларацию свою изъясните. Так-то. А потом мы с вами, если угодно, и о существенном побеседуем.

Окрыленный Семен перед невестинной дверью лишь струсил. Так счастлив был. Так счастлив был. И помолчал бледный, и сказал свое слово.

И сидела она, затянута в шелково-стальную материю, откинув прекрасную голову, в потолок расписной глядя. И ногти ее острые и любимые по плюшу кушетки знаки-узоры чертили. И слова жениха слушала. И еще к чему-то прислушивалась. И молчала. И чуть подняла голову, но веки опустила, так с закрытыми глазами и говорила.

– Вы не противны мне, Семен Яковлевич. Вы милый... Вы очень милый. Но как вы не поняли: я не вас люблю, не вас. Я люблю Борка. Да, да, гусарского корнета Борка. Не улыбайтесь, прошу... Впрочем, вы, вероятно, не улыбаетесь. Не вижу. И он меня любит. Правда, Борк весь со своей любовью не стоит вашей любви, силы вашей любви, ее искренности, чистоты. Видите, я не обманываюсь. Но, Семен Яковлевич... Но, милый мой Семен Яковлевич, я-то вас не люблю... не полюбила еще. А я молода, и любить мне хочется. И почему-то честно любить хочется. Я в любви хочу быть провинциалкой, Семен Яковлевич, милый мой. Так вот, расстанемся друзьями. Да и расставаться не надо, пожалуй. Приходите. А о разговоре нашем я ни слова. Ну, вас о том и просить не надо. Надеюсь, отцу вы не говорили еще. Со мной-то он не раз уж говорил о вас. Да. Жаль мне отца. Надеется он на нас с вами. Ну, да на то и старость, чтобы о деньгах думать. А мне двадцать первый год, Семен Яковлевич. Хочется мне еще глупой побыть. А вам сколько лет?

Кто-то вместо Семена, убитого, ответил хрипло:

– Двадцать девятый.

– Ах, милый мой Семен Яковлевич, не мало вам лет, но и не так уж много. Сделайте вы с собой что-нибудь. Уезжайте куда-нибудь, поучитесь. Знаете ли вы, что за все, за все время, как знаю вас, никто о вас ничего, ничего не сказал, кроме того, что у вас два миллиона. Ведь скучно это...

– И полутора нет, – ответил хрипло мертвец.

– Ну, это все равно. Отец и с половиной дела свои поправил бы. Ему кредит нужен. Ах, как нужны вы ему. Оба мы нужны. Огорчу я его с моим Борком. Но что делать. Решила я. Хорошо, когда решишь, жених мой милый. Решите-ка и вы, пока не совсем поздно. Что решить? Приходите завтра, скажу. Обдумаю. А золотым мешком скучно быть, милый... Вы ведь не сердитесь, что я вас милым зову? Вы, право, милый. Но что вы молчите? Нет! Молчите, молчите, я понимаю вас.

И говорила, поводя рукой по плюшу, по старо-розовому. И глаза ее были закрыты: видела судьбу свою. И губы, говоря жестокие слова найденной юной правды, улыбались не радостно, не смехом, но скорбно. А тот стоял потный, с чуть открытым ртом, с испуганными глазами. И то хотелось ему быть где-нибудь, только не здесь, то страстно-страстно хотелось здесь, здесь остаться, чтобы сделать что-то. Но что?

А за пятью стенами изящный старик потирал руки.

– Однако долго они там. Ах, уж и дочка. Мудрец у меня Дарья.

И смотрел на расцветающую ныне позолоту карниза.

– А нам с Борком приданого моего пока хватит. Ненадолго, милый, ненадолго. Знаю. Отец достанет. А может, и не достанет. Что ж. Решила я. Решилась я. Ах, хорошо решиться. Хорошо решиться, Семен Яковлевич, жених мой милый, неудачливый.

И глаза открыла ласковые. И быстрее по-обычному:

– Завтра непременно. Непременно завтра вечером. От гостей уйдем, здесь запремся. О вашей жизни поговорим. Может быть, Бирюлину Настю вам сосватаю. Ну, не сердитесь. Не решено еще.

И гневался Дарын отец. И кричал во всех комнатах. И с дочерью кричал, и без дочери. И поняли все три лакея, что можно опростать открытую бутылку. А старший из них без зова вошел и поставил перед барином коньяк.

– Теперича ему коньяк надобен. За ваше здоровьице, Олечка.

– Хи!

Бедный, бедный Семен. Обнищала душа его небогатая. И смотрит, и смотрит, раздетый, ночной, в ночные не осуждающие лики окладных икон.

– Господь с тобой, – шепчут.

Но злы стены. И не эти стены многолетней комнаты детской. Из всех стен дома отцовского пар-дым идет, гнев.

Хоть бы он не пришел...

Но лучше ли? Она из стены вышла. Она, Даша. Платье сталью отбивает. Шелковое. Туфлю ненарочно жениху глупому показывает. По чулку черному узор серебряный.

– Здравствуйте, Семен Яковлевич, милый. Вы ведь милый.

И высоко-скрывающее платье стальное у ворота расстегивает, глаза зашурив.

Но будто загремело. То он вошел – чужую жизнь из дома своего выгнал. Молча кивает бритое грозное лицо над длинным, до галстука застегнутым сюртуком. И галстук жесткий скрипит. И молчит железный старик, на сына на старшего глядя. Любил помолчать железный отец. Стены, им выложенные, за него говорят. В ночи говорят наследнику великого дела.

– Отшили? Так. Саночки вам подали, Семен Яковлевич. Бывает. Это с бедными женихами из мелочных торговцев зачастую случается. Ничего, потерпите. В другие ворота постучитесь. Может, и не везде так. Может, кто и не прогонит. Вот Дубасин, насупротив лавочка, две тысячи обороту и дочка две – невесты. Выбирайте. Авось! Ась, Семен Яковлевич? Ась, милый?

Стоит железный старик, головой грозно кивает, молчит. Слышит он говор стен дома своего, навек сложенного. И молчит. Лишь глаза его в Семеновы глаза.

– Стой-стой-стой! Ишь, орел-птица!

Это Доримедонт.

И невнятно так бормочет. У живых нет мыслей о Семеновом горе. Лишь стыд Семенов да страх его не слабее горя его. Кто победит...

XXIII

Несчастливая Александра, невеста-вдова Сампсона Сампсонова, хотела сказать:

– Что же это, Макарушка, ты со мной делаешь. Ведь живая я. И дом мой. Засорил ты меня всю, замусорил.

Но так она картавила, так огорчена была недоуменно, что Макар и вникать не стал в намеки слов ее. Не понял.

– Тетя, вы же сами пожелали. Вот и бумага. Помните, Рожнов приносил. Весной еще. Подписались вы. Могу же я на своей земле строиться.

Заторопилась-заплакала старушка – а тетя Саша совсем старушкой стала, – говорит, как причитает:

– Макаюська, Макаюська...

И пытается объяснить ему, что не нужно было крышу с ее дома снимать и сад вырубать весь.

– Макаюська, где гулять буду...

И говорит она племяннику, что хотела в саду беседку поставить, и в беседке чтобы портрет Сампсона висел. И стала бы она в беседку утром и вечером ходить. А теперь сада нет. Срубили, кирпичи возят.

– Тетя, тетя, вы же сами. А насчет крыши вот пункт. Смотрите сюда, тетя, вами подписано.

– Макаюська, Макаюська, известка везде.

– Ну, тетя, это вы зря. Мы на цементе строим, на портландском. Известки у нас не сыщете. Десять рублей бочоночек. Все на цементе, все на цементе. Ваши комнатки, правда, на известке сложены. Ну, да Петр Петрович говорит – крепко, хоть пять этажей выдержит. А что правда, то правда, не место вам, тетя, здесь. Уезжайте-ка в дом.

Домом звался дом старика-отца.

И говорила опять Александра, руками, как курица крыльями, хлопала, Макару объясняла, что уехать она не может, что беседку теперь где же поставить, что летит к ней в окна всякая дрянь, что с потолков штукатурка валится и что как же это так.

Спокойный Макар объяснял и бумагу показывал, то на том, то на том пункте палец держа перед теткинными испуганными глазами.

XXIV

Хорош парк в Лазареве. Давно-давно посажены деревья редких у нас пород. Приноровились. Живут. Пруды рытые. Через протоки – мосты. Дорожки заросли, узкие стали. А то и не видно их. Полян сколько. И по парку стоят, как бегут, разные строения, давно никому ненужные, кирпичные, штукатуренные, белым крашенные. И беседки здесь, и галереи, никуда теперь не ведущие, и вот башня одинокая, являющая красный кирпич. Ранее была башня посреди псарни; зачем была, не знают люди. Потом была башня коптильной окороков – и все нутро ее черно до сегодня, – а потом башня и башня. Стоит и стоит. И пусть стоит.

Укрыла, обмотала зима редкостные растения парка. Бело и тихо, и строго. Есть такие места: зайдешь, как в лес зайдешь. Даже дичь заводилась не раз. У дома вытоптано. Подальше кое-где тропины возникают и замечаются. А там, за прудами, по недавно еще тихим полянам дорога проезжая зародилась и окрепла. Подчас гnevаются братья-помещики, Федор с Вячеславом; говор да скрип слышат – с ружьями выбегут, и затрещит в морозе крик-ругань.

– Наша земля. Прочь с возами, такие-сякие.

– Вишь, дорога наезженная. Пропущай, штоли-ча.

– Какая дорога по парку? Не видишь – парк.

– По своей земле едем, по хрестьянской. По старым-то плантам вон до коих сосенок...

– До каких до сосенок, черти. Где стена-то стояла? А?

– Стояла-то она, и впрямь стояла. Да сам же ты ее снес. Стало так, что не на своем она месте, голубушка, стояла. Ну, пропущай, штоли-ча. Эй, братцы, трогай. Ишь барин тоже... А ты, баринок, судом, коли хочешь, оттягивай. В те поры поглядим. А до срока своим посчитали, хрестьянским, как при дедах было. А по весне и скотинке нашей здесь выгон будет. Трогай, ребята.

– Назад! Стрелять будем.

– А ты не грозись зря-то.

По осени продали братья-помещики стену на снос, на кирпичи. Пять рублей с тысячи давали рядчики. Но присмотру настоящего не было; возили, считали, как хотели. Мало братья-помещики заработали. Но понравилось. Ишь, сколько строений никчемных без крыш стоят. Все сносите. И запродали. Вон из Богдавленского подводы потянулись.

Живут братья, Федор с Вячеславом, в Лазареве, плоть свою тешат, а вокруг мужики живут, хлеб жуют. Но то ли нет братьям раздолья настоящего, то ли и не раздолья им вовсе надо.

Федор с Вячеславом в крепко топленной комнате сидят. На диванах. Брат на брата смотрят. Давно им скучно, и давно хочет Федор Вячеславу штуку подстроить. И разное говорить брату-ученику своему. Но не то все. И скучно Федору здесь, четвертому сыну железного старика. И не видят никогда они своего отца, ни духа призрака его. И не слышат. Так живут.

– Выпишем, Вяча, Корнута, что ли... А? С нянькой. Скучаешь ты, когда не пьешь.

– Пошел ты...

Вячеслав Федору подражает. И словами, и во всем. Старается.

– Ну, вот что, Вяча. Снимайся. На башню пойдем.

– Опять на башню?

– На башню.

И угождая брату, говорит младший Вячеслав, себя не узнавая:

– Пойдем.

И нужно им было пройти синюю комнату. Никто не жил в синей комнате старого флигеля. И стояла она пустая: в жилые комнаты унесли братья все оттуда. Лишь тахта рваная у стены. Кисло и затхло пахнет ее мочальное нутро, видимое сквозь многие дыры.

Прошли братья. И опять синяя комната показалась им нехорошей.

И Федор подумал:

– А ну ее!

Вячеслав же прошептал:

– Господи, помилуй. Господи, помилуй.

Вспомнил няньки Домны рассказы. Про старика про какого-то давно говаривала.

И так миновали синюю комнату.

И по двору шли. И говорил что-то Федор рабочим, странно-ненужным своим рабочим людям. И покорно отвечали. И довольные шли братья.

Башня через двор. К ней узкий-узкий дом пристроен. Нет давно крыши. Продать и стены на снос, коли так...

В башню братья вошли. Федор первым. Вячеслав – тому уж как-никак за братом идти – Вячеслав идет по крутым этим ступеням, свое подумывает. А дума его все та же...

– Отобью-ка я Веру от Федора.

И еще дума:

– Хороша попа Ивана дочка. Ах, хороша Мелания.

Но говорит Федор, громко говорит-будит:

– Стой! Какой черт с позавчера две ступеньки вынул.

И вот осторожно. И вот добрались на верх башни. Чугунный балкон кругом. Перила разными людьми усадебными на разные потребности давно растащены. Миг ненависти в сердце Вячеслава наступил. Часто за последние дни разгорается ненависть против брата в Вячеславовом сердце полудетском. И дышать ему тогда трудно. Убить-сокрушить руки хотят. Противен пьяный брат. И то противно, что всегда-то они вместе, и друг над другом глумятся, и то противно еще, что Федор – пьяный, грубый бездельник, и явно ненужна жизнь его. И покажется вдруг Вячеславу, что сам-то он и не пьян никогда, и не груб, и хороша была бы жизнь его, если бы не брат. Убить-сокрушить... И отскочил Вячеслав, силой ненависти своей испуганный, назад в дверь башни. Страшен показался балкон башенный, неогороженный. А внизу во дворе народ ходит. И, верно, кое-кто на братьев глядит. Застучали-заскрипели под Вячеславом башенные ступени дубовые.

– Стой! Куда, дурак?!

– Пошел к дьяволу!

Будто башенное нутро прохрипело.

– Ты что же это! Мне противоречить...

– Пошел ты...

Вошла в пьяного Федора сила башни, сила недавних жизней ее, и он сказал-прокричал:

– Эй, Вячеслав! Пойдем ныне ночью в поповский дом... Меланью выкрадем.

– Что? Что? – захрипело башенное нутро. А сам задумался вдруг. Да это-то и нужно?

И так хорошо будет?

Но злоба-ненависть пуще закипела.

«Как? И он про Меланью думает, подлец? Убить его мало, сукина сына... Меланью!.. Да я ему такую Меланью покажу...»

И в неспешном раздумье опять наверх пошел. Что сделает? Что скажет? А сверху голос пьяный, ненавистный:

– Дура-голова, пойдешь, что ли? Чего нам бояться, помещикам. Веселая штука выйдет. Выкрадем, у себя в доме спрячем, натешимся. А поп что? Попа водкой купим. И не пикнет. Только, чур, я первый. А захочу – и вовсе младшему брату не достанется... А Верка пусть смотрит...

И загрохотал пьяным хохотом. И понял Вячеслав, уже на балкон ногу занесший, что глумится Федор, что проник пьяный в тайну его.

Вдруг Федор несознанно сказал-прокричал Вячеславу:

– Стой! Стой!

Почувствовал нечто Федор в лице брата. От края балкона отпрыгнул, сказал-прокричал:

– А...

Кулаки к груди прижал, в дверь пробивается. А тот:

– Стой, Федор! Стой здесь!

– Это почему: стой?

– Стой, говорю. Вниз не иди.

– А!

Ужас грядущего охолодил Вячеслава. Вот сейчас случится. Вот сбросит он на подснежные камни двора негодяя ненавистного. А дальше что? А что, коли тот его сбросит? Сильнее. И стоя на пороге возможности, охолодел. Пот холодящий под рубашкой заструился. И обманул себя и брата:

– Скажи: где деньги?

– Деньга? Ты про те, про настоящие? Про отцовские? А бес их знает...

– Ты взаправду не знаешь?

– Да чего знать-то? Рожнов-подлец да Семен с Макаром как хотят вертят. В город надо ехать, вот что... Посылают, черти, по сотенной, будто на смех...

И вот охолодел Вячеслав до дрожи. И другим голосом понудил себя сказать:

– Да я так...

И спускаться начал по ступеням.

– Что так? Ехать надо.

Но оборвал сразу. Вячеслав рукой махнул. Противны, нудны стали слова притворные.

И спускались братья с башни. Вдруг младший сказал хрипло так, угрожающе:

– Понял, что ли?

– Что понял?

И прохрипел тогда Вячеслав, спеша вниз:

– Подлая скотина!

А старший брат загрохотал недалеко вверх:

– Ха-ха.

И до ночи бродили, покоя душе не находя, ненавидящие, тусклые. Друг от друга убегали. Один в дом – другой из дому. И водку пили порознь. И брэнчала на гитаре Вера скучная, Федора любовница. И, проходя, глаза косил на нее Вячеслав. Брэнчала, напевать принималась. Заскучала Вера, Тараканихи-ростовщицы заречной дочка. Из Лазарева прочь ее потянуло. Да матери страшится. Женить на себе приказывала во что бы то ни стало. Изобьет. Потому ли скучно, что подруги Маши нет... Давно та в Заречье уехала. С Вячеславом разругались. Норовистая.

XXV

Загуляла духота печная по флигелю, а все окна, все двери, все щели его на ночь крепко закрыты. И потрескивают бревна по-зимнему. И не видна тяжело дышащим, разметавшимся звездная ночь над белой зимой.

– Э-эй! Э-эй!

– Горит, братцы!

Снег заскрипел под валеными сапогами. В стекло стучат. Дверь хлопнула глухо. И быстро вскакивали, на ногах просыпаясь, и торопливо натаскивая на ноги и на плечи ближайшую одежду, шли-бежали, заслышав страшное деревенское слово:

– Пожар.

И пошел гомон на барском дворе и там, далеко. Все облегченно всматривались в неблизкое зарево.

– Слава богу. Не мы горим.

И обсуждали: где?

– Кажись, скирды господские.

– Ан нет. Мельница!

– Тоже, мудрец! Да коли бы мельница, полымя-то эх куда полоснуло бы! А тут вширь пошло.

Выбежал Федор. Полушубок крытый на ходу застегивает.

– Машину выкатывай, ребята. Бочки готовь! Эй, ты, мне Гнедого оседлай.

Красиво стало лицо Федора под неверным светом далекого зарева и желтых фонарей в руках дворовых людей. Хмель вылетел вчерашний, ни скуки в лице, ни злобы. Будто этой ночи все долгие месяцы здешней жизни дожидался. Счастливым криком покрикивает, с места на место ловкой поступью перебегает. И все не без толку. Быстро машину ржавую наладили.

– Домой бы шла!

Это Федор Вере. Стоит, в шубку, в рукава не надетую, кутается.

– Зачем домой? И я поеду.

– Не женское дело.

– Что дома-то не видала... Смотреть поеду. Ишь, в медвежью дыру завез. Здесь пожар заместо театру. Все веселее.

Нескрытой злобой сверкнули глаза мужичков. И разные слова враждебные перелетать стали. Понял Федор. Злобно закричал. Погнал, в дверь толкнул. А из двери Вячеслав. И загудел тогда запоздавший набат на далекой колокольне. И переглянулись те двое. Братья с ненавистью переглянулись. Вячеслав, чтобы подозрение не зародить, поспешно с крыльца сбежал.

Ускакали. Те, кому коней не достало, позади бегут размеренным бегом, чтоб ранее срока не притомиться.

Потолкался Вячеслав. В дом возвратился.

– Верочка! Верочка! Где вы? Или спать?

– Нет. Какой теперь сон.

– Подите сюда, Верочка. Или я к вам? Можно?

– Да раздета я...

– А вы оденьтесь. Или платочек накиньте.

– Хи-хи... платочек.

Через дверь разговаривали. Вячеслав в коридоре стоял, задыхался.

– Ну, коли хотите, поедem и мы на пожар. Что вы молчите, Верочка?

– Да они, поди, всех лошадей забрали. На чем поедешь...

– Ну, пешком. Да пустите вы...

И навалился Вячеслав на дверь. Затрещало.

– Что вы? Что вы, Вячеслав Яковлич?

А тот ломился и хрипел:

– Верочка... Верочка...

– Стойте, стойте! Сейчас отопру.

– Отопрете?

– Ей-богу.

Слышит Вячеслав: одежда шуршит, сапожки по полу застучали. Ждет, покорный. К двери Вера подбежала; замок звякнул; отперла.

– Входите!

И от двери отбежала. Вошел Вячеслав. И к ней. Что-то сказать хочет. А она сторонкой, как кошка – в дверь. И выбежала. Бежит и злобно кричит, уже далекая:

– Так-то ты, подлец! К девицам по ночам ломиться. Все Федору скажу.

И два раза ударила входную дверь пружина. Сморщилось лицо Вячеслава, и кулаки его сжались. Постоял близ смятой постели, близ теплой еще, сплюнул, выругался по-мужичьи и медленно вышел из пустого дома. Двор пуст. Зарево разгоралось, близилось в ночи. И пошел без мысли. И долго так.

– Здравствуйте, Вячеслав Яковлич.

Голос-то, голос-то милый какой. Очнулся. Неверяще-радостными глазами глядит. Она. Мелания. Попа Ивана дочка. А вот и дом поповский. Как скоро дошел.

– Или и вы, Вячеслав Яковлич, на пожар? Что же пешком?

– Да так... Да я и не на пожар. Здравствуйте, Мелания Ивановна.

Рука ее теплая, сонно-радостная, рука девичья, в его руке затрепетала. Так посмотрел он дико. Но испугался ли, скрыть ли что хотел, стал вдруг застенчиво-робок и умоляюще тихо говорил:

– Пойдемте со мной, Мелания Ивановна.

– Пойдемте, Вячеслав Яковлич. Да что это вы назад-то?

А тот взял уже ее под руку и уверенно шагал по дороге, которую шел сюда.

– Что вы, Мелания Ивановна! Куда теперь с вами на пожар! Там мужичья этого – страсть. Затолкают. А мы так пройдемся. Погуляем.

– Ну, разве немножко. А то бы издали поглядели.

– Нет, Мелания Ивановна. А лучше вы мне расскажите про свою жизнь. Как у вас в епархиальном было. Чему учили.

– Да всему, что полагается. Ах, как вы руку жмете.

– А это потому, что я вас очень люблю.

Осмелел Вячеслав, идя рядом с поповой дочкой.

Вот я – купеческий сын богатый, а она... и хорошая же она, красивая, добренькая. И моложе этой Верки-подлячки да Маньки. Но Мелания сказала строго так:

– Назад пойдемте.

И вот Вячеслав робок стал. Умоляющие слова; голос прерывается. Умолил. Идут. Не страшно ей опять. Толкует-воркует про разное, про свое, Вячеславу душу тешит, ласковую теперь под звездным небом заревым. И он ей разное говорит. Но мало. Только чтобы речь ее не угасла, ласковая музыка. И руку не прижимает. Помнит.

– Теперь уж назад.

– Ну, еще.

– Да куда еще. Ворота ваши сейчас.

– А мы в парке погуляем.

– Что вы? Что вы? Ночью-то...

– Ничего. Нет никого.

– Да я и собак ваших боюсь.

– Со мной-то!

– Нет, что вы! Пустите!

Но он влек ее опять сильной рукой. И тяжело дыша, молчал, пока не вошли в парк.

– Ну, видите, не страшно.

– Ах, страшно.

– Мелания Ивановна. Я вас люблю.

– Пустите! Пустите!

И вырывалась. И упрекал он себя молчаливо. И опять, робкий, умолял. Дыхание обоих стало громким в ночи.

– Я пошутил... Я так. Смотрите, как зарево отсюда красиво. Сквозь деревья.

Сквозь деревья снеговые величалось перед людьми зарево. И шли.

– Куда же мы?

Голос Мелании звенел кануном слез.

– Что вы? Что вы? Гуляем мы. Разве не хорошо здесь?

– Тьма. Не вижу – куда идем.

– Ну, я-то вижу. Хозяин я здесь.

И еще раз голос Вячеслава прозвучал властно.

– Кто по ночам в парке гуляет, да еще зимой?

– Еще немножко.

И влек к дому боящуюся и не находившую уже слов; вел по тропам, ему ведомым.

– Боже мой! Вот уж это ваш дом виден. Огонь в окнах.

– Ну что ж.

Но отбивалась. Но держал крепко. Лицо свое к ее лицу склонял.

– Куда вы одна-то денетесь? Дороги не найдете.

– Пустите! Пустите!

Почти кричала. Дрожали оба. Сильным стал Вячеслав, и слабою стала Мелания. И влек он ее. Вот крыльцо. Отбежал, визжа, пес и, голову к снегу склонив, пошел по следу: кого привел хозяин?

Молча боролись оба на крыльце. И когда хотела Мелания закричать-завопить, внесли ее сильные руки в дом, в роковое для нее место.

По полу тащились ее ноги, а лицо ее милое, ныне единственным страхом искаженное, прижато было к груди Вячеслава. И хлопнула за ними дверь. И шли так. И прошли коридор. И головою Мелании отворил дверь несший ее. И застонала. И так вошли в синюю комнату. Та дверь открыта. Оттуда свет лампы, далекий. А в окна пустой комнаты, синей комнаты, старой, смеется, над людьми величается могучее зарево. И одним глазом увидела то Мелания. И закричала. Но рот ее зажали красные сильные губы. И затрепетала-забилась. И не могли сдерживать трепетания того сильные руки мужчины. И шагнул Вячеслав, и сложил-кинул свою ношу на старую, на затхлую, на дырявую тахту. И сам, хрипя, на тахту повалился.

И радовалась синяя комната нежилая.

«Вот опять люди во мне. Новую жизнь во мне сотворят. Взамен той жизни, убитой здесь».

И радовалась синяя комната, пустая. Одна она радовалась. Вячеслав был вне чувств, которые запоминаются. Ужас же Мелании был ее первым ужасом. А людям первого ужаса до дна постигнуть не дано. И радовалась синяя комната. И опять радовалась. Радовалась блаженством нарушенного одиночества.

Комната-убийца пела еще свои тихие синие гимны своей какой-то весне, а Федор уже осаживает Гнедого у крыльца. Покричал. Нет никого. Поводья к крылечным перилам прикрутил. Деловой он сегодня, Федор. И в дом пошел. Дым пожарный и жар душат в нем пока сердитого змея ревности. На крыльцо бежит и шепчет:

– Держись, Вячка... – И в его мелькающих думах проплывает образ запыхавшейся Веры. И идет, не бежит, уверенно.

– Я тебе!..

Но вдруг ужас. Из синей комнаты, из нежилой, голос неузнаваемый. Но то Вячеславов голос.

– Стой! Застрелю! – И слышны шаги-прыжки.

Что с Вячеславом? Таким еще не был он. Ну, да пьяные разные бывают.

– Чего ты здесь обосновался? Дай, говорю, пройти. А бока я тебе потом намну. Ну!

– Не смей! Стой!

И слышал Федор беготню Вячеслава. И вот у двери Вячеслав. Дышит тяжело. Как конь загнанный. Стоят братья близко-близко. Но доски двери между ними. Знает Федор: от двери этой ключа нет. Задвижка медная. Ну, да задвижка что!

– Подожди ты... Влетит... Забудешь, как к чужим любовницам руки протягивать...

Колотится в груди Федора ревнивое сердце. А тут из-за двери не то стон, не то плач почувдился.

– Что за чудеса...

Отпрыгнул шага на два, плечом правым тряхнул, плечом в дверь ударил. Втолкнул его в комнату грохот-треск двери и крик-визг Вячеслава. Дверью Вячеслава сильно отмахнуло. Но плач ли, стон ли из угла, с тахты ветхой. И с открытым ртом от Вячеслава Федор отвернулся, в неверном свете, из соседней комнаты льющемся, женщину лежащую видит. В платье растерзанном.

– Та-та-та... это еще кто? Никак...

Раскатился по дому дымной волной грохот-выстрел старого охотничьего ружья. Левой рукой Федор задержал. Кровь из рукава закапала. Зверем обернулся, на Вячеслава кинулся.

– Так-то? Так-то? Сгниешь теперь в Сибири. А пока что, получай... Получай!

И правой рукой бил брата сильный Федор, левую руку, раненную, за спиной пряча.

– Над девицами насильничать вздумал... Получай! Стрелять вздумал... В брата стрелять, старшего... Получай! А потом в Сибирь тебя, голубчика.

А Вячеслав, к стене прижатый, стоял – не отбивался; ружье тогда же выронил, как только грянуло. Стоял Вячеслав с лицом белым, глаза круглые стали. Платье на нем расстегнуто. Стоял, раскачиваясь под ударами братнина железного кулака; стоял-молчал, изредка лишь повизгивал, как ужаснувшийся зверь. Но то от иной боли. Видит Вячеслав на месте пропавшей тахты стол старинной работы, красного дерева, полоски медные, ящичков много; на зеленом сукне выдвинутой доски деньги: и бумажные и серебряные, и еще мешочки маленькие лежат, золото там, верно. И у этого стола, тут вот близко, двое старика белого-седого убивают.

Старик в пестром халатике чуть руками поводит; за руки его один ухватил, с лицом темным; ногами чуть дергает, в кресло повалили. А другой человек, лица его не видно, ножом по горлу стариковскому водит. И хлещет кровь. И много крови. И страшна кровь. И видит то Вячеслав. А для слуха нет ничего. Видит и визжит. Ужас в нем и потому не чувствует он кулака Федора. А Федор не устает. Бьет, свое приговаривает.

Голову Вячеслав запрокинул, глаза завел, хрипло так вскрикнул и повалился. То услышал он новый голос. Голос живой к жизни здешней, к Лазаревской, вернул. На миг увидел в синей комнате все, как есть: и тахту дырявую, и Меланию, и брата, и вбежавшую Веру. Увидел, повалился; как нет его. Пропали стены синие проклятые. И все надолго пропало.

Улетело ли, провалилось ли.

Вбежала Вера в шубке своей на белом барашке; вбежала, увидала, истошным голосом закричала.

Тяжелы и страшны были жильцам Лазарева останные часы той ночи.

– Не ори, дура. Без тебя шуму довольно было...

Но Федора не слушала Вера. На полу сидит в платке, в шубке, как вбежала. Сидит, руки в пол уперла и кричит-воет. То на Вячеслава простертого взглянет и на ружье его, рядом с ним лежащее, и дико-страшным ей то кажется, то видит страшную Меланию, попа Ивана дочку. Лежит Мелания растрепанная, и понимает Вера, что с ней сделали. А у Мелании губа прокушена. Чуть кровью лицо запачкано. А при всем, что здесь в синей ночной комнате, так страшны, так страшны эти капли крови. Федор руку свою раненую прячет. Но уж увидела Вера.

И тут кровь. Везде кровь. А мозг ее вдвойне к страшному чуток после ночного пламени, там за деревней.

– Господи! К разбойникам попала. Мамочка, милая, вызволи! Убьют они меня, зарежут... Скажи ты мне, аспид проклятый, кто в кого из ружья палил... Пороху-то... Пороху-то... Не продохнешь... А Мелания-то!..

Это Вера выть перестала. Первый ужас ее отошел. Слова в нее вернулись человечьи.

– Ишь, отошла дура полосатая. Молчи, говорю. Народ стонишь. Не такое дело...

И Мелания совсем уже очнулась, села, одежду поправляет, громко плачет. Давно она все видела сквозь веки испуганно-прищуренные, но очнуться, ужас свой единственный забыть-согнать боялась: вот накинута, вот еще что сделают... Но женщина знакомая в страшном, диком доме. И не так ей страшно, и не так дико. Ужас сказки сонной вылетел из синей комнаты. Лишь память только что минувшего крестной болью огорчает. И сидит, оправляется на дырявой на проклятой тахте и плачет всем своим мокрым лицом.

– Ве-ро-чка, что же э-то...

– Мелания Ивановна, послушайте... Успокойтесь вы, Бога ради...

Отвернулся Федор от Веры, взгляд от нее отвел. Кошкою Вера вскочила, из комнаты, из дома бежит.

– Стой, говорю. Стой!

Поздно. К окну Федор бежит. Видит: во дворе Вера. К людям. С пожара люди возвращаются.

Рукой махнул. Руку раненую разбередил. Поморщился.

– Эх, ведь... Ну, будь, что будет.

– Мелания Ивановна, голубушка...

И утешить пытается, ищет в себе слов, не находит; слов таких, чтобы не обидеть. Женских слов, что ли. Да нет слов таких.

– Да, может, вы ему, Мелания Ивановна, позволили? Вы припомните. Ну, не плачьте вы. Не буду. Я ведь спрашиваю только. Почему я знаю... Ну, вот что, голубушка. Хотите денег? Я устрою. Много денег... Ну, уж и не знаю, что мне с вами делать. Воды хотите?

И отошел от нее, от плачущей. Полушубок свой стянул; ни пиджака, ни поддевки на нем не было. Рукав рубахи засучил, руку раненую платком перевязывает, глазом на Вячеслава косит, на лежащего. В тяжелом беспомоществе тот.

– Ишь, скотина. Дробью в людей стрелять... Ну, здесь на вылет... А здесь вот... и здесь... Ишь, стервец. А хочешь, я ружье солью заряжу, да в спину тебе... Только вот вас, Мелания Ивановна, напугать боюсь, а то выпалил бы. А то разрешите. Живо бы он у меня вскочил. Зачесался бы, жеребец, подлый... Ну, не буду, коли боитесь. Не плачьте вы только.

И степенно Федор руку свою разглядывает; перевязывает, на брата простертого косится, ворчит. И кажется он себе ныне таким хорошим, да трезвым, да благородным, да распорядительным. Скирды залили. Две кладки отстояли. А все он. Брата-подлеца накрыл. И наказал. Девуцу утешает. Правда, настоящих слов не знает. Но все-таки... Под пружиною дверь входная хлопнула. Вера в комнату бежит. Запыхалась. Вот почти спокойная. Глаза деловито поблескивают.

– К попу Ивану бегала...

Дальше что-то говорить хотела. Но два шага Федор шагнул, головою покачивая, руку правую, здоровую, наотмашь.

– Вот тебе, сорока! В чужие дела не лезь.

За левую щеку Вера руками обеими схватилась, рядом с Меланией на тахту села-повалилась. Обе они закричали-заплакали.

– А вы, Мелания Ивановна, не беспокойтесь. Это ей полезно. Тебя, сорока, кто просил? А? Кто посылал тебя? Просили тебя: пожалуйста, мол, Вера Васильевна, народ скличьте?

Народу-то здешнего не знаешь? А?... Пожалуйста, Мелания Ивановна, не беспокойтесь... Что ты, стерва, попу Ивану насаждала? Еще кому? Всем, что ли?

Важно-грозно Федор слова бросал. Много дел ныне у Федора. Вся ответственность на нем.

– Ишь, все с ума посходили.

К окну, стройный, быстрый, подошел. Форточку открыл, в мороз прокричал приказывающе:

– Эй, вы там! Расходись!

Послышались в синей комнате со двора голоса вопрошающие, неуверенные. А Федор опять:

– Расходись! Расходись! Вранье все. Все живы-здоровы. Чего по ночам толпитесь. Залили – и славу Богу. И спать. Прощай, ребята.

XXVI

Не удалось задушить Вячеслава дела. Как зарево на вечернем небе всей округе видимо стало. Помогла и нелюбовь к братьям-помещикам. Злорадствовали. Поп Иван тогда же в Бого-явленское помчался, кого не надо на ноги поднял. Потом сам жалел.

– Страху-ужасу нагнала на меня эта Верка тогда, в ночи. В дом помещичий идти побоялся. Думаю: и меня убьют. Кто кого убил там, толком не понял. Только в убийстве уверился. Верка эта... Брат брата, говорит, убил. Лежит бездыханный. Ружье тут, пороху полон дом. А про Меланию и помыслить страшился. Увидеть ее живую не чаял. Ну, и поскакал в ночи.

Утром рано-рано в дому народ, во дворе народ. Следствие.

И застало следствие дело-то еще тепленьким. В разум люди не вошли. В лицах братьев и в словах – преступление. Мелания – вся жертва. Поп Иван, трясущийся, за чиновников прячется, речи жалостливые точит. Как увидал Вячеслав форменные одежды – подумал, прошептал:

– Пропал.

Сидит на стуле, как на дне черной ямы, а стены ямы той липкие и отвесные, и говорит только:

– Да. Да. И это так.

А спрашивали и про Меланию, и про ружье, и еще про многое.

Братьев друг от друга в округе не отличали. Обоих не любили, про обоих дурное говорили. На допросе тоже. Едва разобрались. А тут еще Федор кричать начал, озлобил. В Федоре то злоба против брата закипала, то вдруг жалел он его и себя жалел.

– Когда там эти дьяволы дело распутают. А вдруг у них так выйдет, что оба мы разбойники?

Смутно еще боялся Федор слов своих на башне про Меланию. Скажет Вячеслав. Вот-вот скажет-донесет.

Но Вячеслав лишь на вопросы отвечал.

Когда Вячеслава увозили, когда тарантас в ворота уже въехал, Федор, новою мыслью осиянный, закричал:

– Стойте, черти! Да он на ней женится. Вот и делу конец.

Но те, может быть, и не слышали. А вокруг стоящие мрачными взорами его обдали.

К вечеру увидел Вячеслав крепкие двери грязные, грязные стены вонючие, страшных людей вблизи. И когда опять спрашивали, отвечал:

– Да. Да.

А себе, одинокому, шептал безучастно:

– Пропал.

Ночью в бездумие тяжелое, смрадное вошел забытый Вячеславом железный старик. Сверкнул очами, помолчал и отвернулся. А Федор и Вера на разных тарантасах поехали на пристань.

XXVII

Железною цепью, при каждом неверном шаге насмешливо позвякивающей, железною цепью потянулись недели ожидания для всей семьи. Железною цепью, один конец которой накрепко вделан в стену, а на стене дегтем намалевано: «Позор».

Один Макар не унывал. Так же ездил он дважды в день, с утра до обеда и после обеда до окончания работ, на постройку своего дома, на гору, на гордый берег великой реки. Много оставлял он Раисе часов и для того, чтоб подумать, и для того, чтоб поскучать в нескольких комнатах нанятого домика, где кто-то как-то свил им наспех гнездо. И летом, и зимой строится дворец Макара.

– У нас по-заграничному. Все можно; только захотеть и правильно распределить.

А про Вячеслава Макар говорил:

– Туда и дорога. Вот Федор тоже – оба они сорванцы-разбойники. Когда при нем говорили о хлопотах по Вячеславу делу, об адвокатах, даже о каких-то подкупах, Макар сердился.

– И никаких бы судов не нужно, никаких адвокатов. Убил – и пошел в Сибирь, к черту. То, что Вячеслав сделал – тоже в Сибирь. И сроков бы никаких не надо. Куда человек из рудников годится. Все бы послабления эти вывести. Боялись бы больше. Подлецов-мошенников бы меньше было. Вот, в старину, говорят, как было! Украл правой рукой – прочь тебе правую руку. И хорошо. Да вот рука. Рубите, не откажусь, коли когда-нибудь копейку украду. А коли убью, в Сибирь ссылайте на вечные времена.

Рассуждений о родственных чувствах, о семейном общем позоре и о прочем слушать не хотел.

– Ну, что же, что брат? При чем родство? Каждый за себя отвечает. Каин с Авелем тоже братья были. Да вот в Москве братья купцы живут. Старший свое все прокутил, теперь помойную яму у младшего на заднем дворе выгребает. А тоже братья. И ничего здесь никто не понимает. Глупый город! Родство – родство! Вот тоже жидов бояться. А я на постройке всю водопроводную часть жиду сдал. Отопление тоже. Какое мне дело, что какие-то там жида пакости разные творили. Мои жида дело свое знают, и, пока в воровстве не замечены, я их на брата родного не променяю. Мне Федор, дурак, водопровода небось не поставит.

Искренне было спокойствие Макара. На постройке весело, а то и грозно окрикивает, по городу быстро ездит, светло и прямо в глаза всем глядит.

– Нет, этого не задразнишь.

Бедный Семен по ночам кричит, вскакивает, Доримедонта будит. По городу редко куда пройдет, проедет. В конторе сидит. Уличные люди страшны ему, улыбающиеся.

– Семен Яковлевич, расскажите, милый, про брата, про Вячеслава. Каков он? И каков в детстве был? Необузданные страсти? Ах, интересно. Мы с Настей о вашем несчастном брате говорили. Та говорит: просто он зверь, дикарь. А я спорила. Нет, говорю. Он, может быть, и ласковый, и добрый, и тихий. Хорошая русская душа. Но стечение обстоятельств. Скажите: ведь он любил ее, ту, Меланию?

– Не знаю-с... И неудобным считаю про все про то говорить.

– Да говорите хоть что-нибудь. Нельзя так: не знаю-с, да не знаю-с, да, да нет. А знаете, что я думаю! Думаю я, что этот ваш Вячеслав характером своим совсем как вы. Конечно! Конечно! Такой же он был тихий до поры, такой же невинный, глаза так же опускал. Одна у вас психология. Я уверена. Вот Настя придет, скажу я ей, переспорю... И не отпущу я вас, милый.

Сидите до чаю. И вы с нами поговорите. И для Насти это нужно. А сдаётся мне, что полюбите вы Настю Бирюлину. И женитесь на генеральской дочке.

Не смотрел Семен на Дарью. Сказать надо. Сейчас-сейчас сказать хоть слово. И нашелся.

– Скоро ли вы, Дарья Николаевна, про дело свое скажете?

– Про какое дело? Да! Ха-ха! Записка? Нарочно написала. Нарочно. Так бы ведь не пришли после того. Нарочно, милый. Неужели не догадались? Нет, правда?

И запела, поднимаясь и руки разведя по оперному:

– Он по делу пришел! Он по делу пришел!

А Семен голову невольно поднял, прислушивается.

– Что? Узнали? Ну, откуда пою?

– В Москве в Большом театре похоже пела одна. «Жизнь за царя» – опера.

– Верно! А чья ария?

– Этого я не знаю. Актриса одна пела, в мужское платье одета была. Лошадь у нее пала...

– Ваня это поет. Ваня! Бедный конь в поле пал...

– Вот-вот...

Сразу замолк. Взоры в ковер опять. И уже не слушает, что Дарья ему, смеющаяся, говорит.

«Что же это она? За мальчишку почитает? Или хуже, коли не шутит. Вячеслав в тюрьме сидит. Вячеслава в Сибирь сошлют, того гляди, а она меня с ним равняет. Психология, говорит, одинаковая. А тут опера. И я хорош...»

– Так остаетесь чай у нас пить? Настю Бирюлину сватать буду. Так и знайте.

Очнулся Семен. Лицо чуть изменилось, рука дернулась. Сразу встал. На мебель низкую, глазами поводя, глядит и на Дарьин шлейф.

– Прощайте, Дарья Николаевна. Папаше поклон мой. Не увижу. Отдыхают ваш папаша в эти часы.

Удержать не могла Дарья. Ушел. Глаза его ее не видели, лицо дергалось. Чуть испугалась. Из прихожей гость страдающий выходил, та ему вдогон:

– Семен Яковлевич, милый, я хочу брата вашего в тюрьме навестить. Вы собираетесь, говорят. Возьмите.

Смолчал, мыслью лишь ответил: «Хоть бы при лакее постыдилась».

И высоко воротник поднял.

После последнего посещения того Ирининых дома забоялся Семен на людях быть. Чудится: смеются все, глум свой в глаза тычут.

И еще особую боль породили в душе Семена Дарьины шаловливые легкие слова. Чудится ему, будто за спиной люди перешептываются:

– Глянь. Это брат того, насильника-то; того, что в другого своего брата палил.

– Ишь! Может, и этот таков же.

– Может, и этот выпалит, но только насчет чего другого – навряд...

– А что?

– Да уж то. Хо-хо.

За спиною призраки площадные перешептываются, с улиц городских Семена гонят.

В конторе за делом, осененный серьезной непроницаемостью Рожнова, забудет жуткое свое горе. А потом опять. И ночью опять. Потолок потемневший громом грохочет, лампадный свет испуганно по потолку, как по волнам, струится. Железный старик над сыном, его не замечившим, потолок трясет.

– Не спи! Не спи! Или все благополучно у вас тут?

И вскрикнув, поднимает с жаркой подушки постылой голову свою измученную Семен. И видит Доримедонта, криком его разбуженного.

– А я, Сема, Вячу во сне видел. Будто Вяча разбойником заделался. Принцесс разных из теремов выкрадывает, головы с них рвет, кровь из горла пьет. Страшно так. А занятно. А сейчас вот по лесу бежал, в камзоле в красном, глазами вот так, вот так. Да как закричит: а-а! а-а! а-а! Я и проснулся. А борода у него вот такая выросла... А ты что, Сема, не спишь?

– Так. Да я спал.

– А вчера, Сема, вот какой сон страшный... Будто всех нас в тюрьму забрали. Я плачу-рыдаю, на колени пал. И про тебя вспомнил, заступаюсь; вы, говорю, господа прокуроры, Сему-то хоть простите, выпустите. Он, говорю, у нас главный, он, говорю, вам денег за то много даст и церковь при тюрьме выстроит... А что, Сема, не заберут они нас в тюрьму?

Молчит старший. Свои думы в голове измученной летают-ползут и по всей комнате. Как видит их.

– ...Скажут: братья вы ему. Пожалуйте! может, вместе злоумышляли... Боюсь тюрьмы, Сема. Больше всего тюрьмы боюсь. И боюсь я такое сделать, что и за дело в тюрьму запрут. Ты, Сема, законы знаешь?

И задумался, затих. Вдруг шепот на громкий говор, на дневной перевел:

– Скажи ты этой Домне-дуре, чтоб Корнуту другую игру выдумала. По целым дням Корнут изо всего тюрьмы строит, кукол туда сажает. Это, говорит, Сема, это, говорит, Макарушка, а одной кукле голову отпилил; это говорит, Доримедонтушке голову отрезали; он, говорит, политик. Приказал бы ты Домне, Сема. Накликают еще.

Поначалу Доримедонту весело было, как узнал про Вячеслава. По дому бродил, по саду с палкой. Невидимо предстающих врагов побивает, чужих невест похищает. Подожду еще малость и в леса уйду, разбойником заделаюсь. Есть же ведь разбойники, говорят, даже из графов бывают. И жить им весело. Шайку наберу, Вячу высвобожу и пойдем, братья, на Волгу страх нагонять.

Но недолго. Сны стали сниться нехорошие, страх в сердце несуразный, как дубовый клин вогнали.

– А что, Сема, Вячу в Сибирь сошлют? – Но задремал Семен, говором брата убаюканный. Недолго спать-дремать ему.

– Ну, и я спать... Господи, благослови, Господи, благослови! Господи, благослови!

И закрестился быстро. И вот обоих взяла ночь дома.

А в ту пору разбудила ночь дома страшной тишиной своей хозяйку, вдову железного старика. Рыхлая, жаркая, чуть шевелится, испуганную голову в подушки прячет, мысли молитвой гонит.

XXVIII

Породил железный старик семерых сыновей себе на утешение, делу великому на подпору. Мыслил – встанут в ряд семеро, отцовы заветы впитаю, встанут в ряд, жизнь грудью встречать. Пусть огорчают старость отцовскую неразумием. Вот умру, дело железное лучше меня на путь их направит. Что я? Ныне есмь, завтра нет меня. Коли я на прахе воздвиг немалое, как сынам воздвигнутого не убережешь? Увидят люди детей моих. На гору я их поставил.

Предсмертными бредовыми думами тешил его ангел-хранитель его. Долгие годы земной жизни строг был ангел-хранитель. Не обманывал, лики людей являл без нимбов надежд невозможных. И много-много диких рож перевидал железный человек, и понятных масок без счету.

– Порадую сладкой надеждой в останные миги горестного пути. Ангел-хранитель сказал. И были очи ангела устремлены на Бога Сил. И не увидели гнева.

Осудили люди Вячеслава. Идти ему в Сибирь. Так дело повелось. На суд он предстал потерявший себя и дикий. Доброе его и спокойное осталось в той жизни, в невозвратимой, за стенами ужаса и тюрьмы. Слышали и видели его судившие его люди и говорили:

– Такой человек на все пойдет.

Мелания в дни суда была больна. Позор судилища был ей еще горшей казнью. И взоры жалевших ее напивались ненавистью к Вячеславу. Федор, желавший спасти брата, губил его. Слишком просты и ярки были его ответы. А когда нужно было заговорить о выстреле, вдруг ворвалась в слова его злоба. Возрождающие подробности судейской пытки ввели его в переживание той ночи. И предстал Федор верной тенью тогдашней своей ненависти к брату.

Говорили:

– А ведь брат родной.

Вера говорила свои женские слова, осуждающие мужчин.

Разные соседские люди, вызванные на суд, не спасали полуправдивыми рассказами.

Говорили два адвоката: Михайлов, свой, здешний, и другой, из Москвы выписанный.

Но и еще было сказано слово в защиту Вячеслава. Но сказано оно было уже после приговора. Через минуту.

– Я пойду за ним. В Сибирь.

То сказала, удивила всех Маша, Верина подруга из Заречья, кратковременная любовница Вячеслава, юркая, девятнадцатилетняя, хорошенькая.

XXIX

И было лето. Душно Раисе в Макаровом доме, во временном, наемном. Вдали от Волги. Садик маленький. С улицы пыль. Из сада во двор павлин бродит, кур пугает, гадко кричит. Макар однажды очень добр был, и чтоб совсем счастлива была молодая жена, выписал ей павлина. Но нет счастья Раисе, счастья радостного, молодого. И дом этот – не чувствует она его своим домом. На постройку Макар жену давно уж не берет. Ничего Раиса в деле не понимает и потому не восторгается духом. Возводимые стены, соединенные грязными дубовыми балками и сводами на железных ржавых рельсах, для нее только грязные, сырые неуютные сараи. Гуляют по сараям тем сквозные вихри, пугающе непонятен гомон и стук рабочих толп. Идет, а отовсюду предостерегающие окрики: то вверх, то под ногами угрожающее. А Макар и нарочно пугает. И заслезятся от пыли и от какой-то неосознанной обиды близорукие глаза молодой хозяйки строящегося дворца, и запросится прочь.

Петр Петрович Знобишин, московский строитель, шариком повсюду перекатывающийся и везде поспевающий, если не кругленьким телом своим, то хоть громким, резким криком, Петр Петрович галантно Раису по сходням сводит.

Не раз к Тете Саше втроем с постройки заходили чай пить. Всегда веселый Макар над тетей Сашей подсмеивается, над смешными, над нелепыми ее вдовьими днями под строящимся домом. Темно, душно в Александриных комнатках. Забрызганные стекла окон рогожами завешаны.

– Тетя Саша у нас главный архитектор. Ни на минуту поста своего не покидает.

– Ах, Макаюська, будто в голову мне бьют...

– Ну, скоро кончим. Ведь скоро, Петр Петрович?

– Скоро, скоро.

Смеются.

В надежде на скорое избавление, живет Александра, пыль каменную глотает, чихает, голову уксусом мочит. Ничего женщины в постройке не понимают.

Не один золотистый павлин. В доме Раисином еще новая жизнь. Сыну-первенцу не первый уж месяц идет. Нарекли имя Яков. В память и славу имени великого железного деда. Восприемниками новоприобщенного церкви были Семен и мать его. Было торжество. Старший сын железного человека и вдова железного мужа благословляли на жизнь праведную, настоящую, первого внука великого волжского дела.

Но грустен был в те часы Семен влюбленный. Неверящ был Семен исстрадавшийся. И дрожали руки его, свершавшие таинство. Вновь приставленному ангелу видны были в глубинах человеческих затаенные слезы. А слезы крестной матери видели и слуги дома.

Макар в те дни весел был. Но и Раиса видела, что то не было счастье отца. На нового Якова Макар глядеть не хотел. Мал еще. И не изменились Макаровы дни тогда никак. А Раисе это было больно. И тогда-то душа ее сказала:

– Вот он камень.

Любопытный Доримедонт неоднократно приходил, смотрел чудесного павлина, смотрел чудесного нового Якова. Оба ему казались нездешне странными. Таких он не видал. Нового Якова тоже боялся, как и Макар, а в павлина влюбился.

– Когда у твоего павлина будут дети, дай мне одного.

– Купи сам.

– Да где такого зверя купишь.

– А ты найди.

Страдал, изнывал влюбленный Семен. Душа его, старую быль не изжившая, приняла новые сказки, в них поверила. Семен тихий, Семен скорбный, Семен, тело женское немоще-любящий, Семен, Богу молящийся, но Бога не любящий, – Семен тот любит трех женщин.

Первая любовь его – его отвергнувшая Дарья. И нет забвения. И нет успокоения. Еще любовь: смеющаяся над ним Настасья любя ему; Настасья, дочь генерала Бирюлина, подруга и секретница Дарьи. Издали любит Настасью. Как солдат королеву. И ловко устраивает та внезапные встречи. И помогает Дарья. И не решается еще Семен поверить в возможность живой любви, любви, которая не сон. И третья любовь в мятущемся сердце, любовь – тихость, любовь – привычка и радость; то Раиса, брата жена.

Изгнанный страхом и стыдом из домов чужих людей, часто Семен у Макара. Из конторы разойдутся, побродит по жутко-тихому дому отцовскому, и без думы, с тихим успокоением туда, на гору, в домик наемный. К тому часу и на Макаровой постройке пошашабу. И Макар домой. Самовар серебряный в маленькой столовой комнате шумит. На столе всякое Макар сам расставляет. По пути в лавки всегда заезжает. Бегают Макар, деловито-суеулиный, стен домика своего не замечает, Раисе молодых слов не говорит, вслух громко думает о ходе дел на постройке дворца. Раиса у самовара сидит. За углом стола Семен тихий. И кажется ему, что он счастлив. Так уютен наемный домик Макара. Так хороша и нужна, и полна жизнь. А Раиса! Раиса! Можно ли не быть счастливом рядом с Раисой. Счастливый Макар. А потому, что умен. Отца-матери не послушал, сам свое счастье сковал. И весело Макарово сердце. Это не петербургская колдунья; не надсмеется, душу ядом не польет; сердца живого ручками в кольцах заморских не вырвет, по бархатному ковру его не покати.

А когда случалось Макару запаздывать, Семен с Раисой чай пьют вдвоем. То ли муж с женой, то ли жених с невестой, то ли брат с сестрицей. Тихо беседуют, Семен слов не выдумывает, улыбается Раиса ласково, в доброту Семенову светло верит. Хорошо-то как. И обо всем говорить с Раисой легко. И про Вячеславово дело без нудыги-стыда.

И, бывало, засмеется Раиса юным смехом, счастливом. Так, просто. И в раю Семен. Заметил он: при Макаре так она не смеется. И слов настоящих, легких, ему не говорит.

Вошел, вбежал запоздавший Макар. Шумом-криком разогнал райских птиц счастья. Покупки разворачивает, бумагу комкает, на окно через Раисину голову бросает. Перед Семеном ананас косматый вырастает, Раисино лицо милое скрывает. И разными еще покупками Макар хвастается, тем, что дешево купил. И все подсчитает. И в книжку записывает. Из кошелька деньги на тарелку высыпает. Если счет на пятак не сходится, сердится он. Кончит и примется о дворце мечтать, сроки высчитывать, каменные, мраморные, железные слова

радостно выкрикивает. Макар теперь не говорит, а кричит: на постройке привык. Кричит и на месте не сидит. Вскочит, побегаёт, опять сядет.

Часто к вечеру и строитель Знобишин здесь. Шумные, райских птиц Семеновых разогнали, Раиса милая, несравненная, чуть иная стала. И дальше она. Но и так Семену хорошо. Душа его в чужом шуме-смехе, в чужом доме отдыхает.

Поначалу Семен тоже нового Якова, крестника своего, побаивался: не привыкал. И Раиса-мать то чувствовала, от обоих странных братьев прятала, оскорбленной душой рыдая. Но раз пришел Семен. Первенец у матери на коленях. Не заметила Семена, с сыном весело играет, головкой милой к нему, к маленькому склоняется, разные глупые слова бормочет. Увидела Семена, застыдилась.

– Здравствуйте. Я сейчас.

В дверь пошла-побежала. Младенца отнести-спрятать хочет, няньке сдать.

– Куда вы, Раиса Михайловна? Вы здесь его оставьте. И я с крестником поиграю.

И новые слова залепетал, и тоже голову к младенцу склонял и слушал непривычно-жуткую сказку новой жизни. И перестал страшиться. И награжден был нерушимой лаской-тихостью успокоенной Раисы.

И не раз добрые лица их сближались над маленьким Яковым. И чуяли они дыхание друг друга. И не мог знать того шумно врывавшийся Макар; от отца прятали Якова. И то была первая счастливая тайна Семена.

Случалось, врывался Макар со Знобишиным. Оба шляп не снимая.

– Одевайтесь скорее! В ресторан едем.

И Семен с Раисой ехал. Макар со Знобишиным. И просил Семен подальше от людей в ресторане устроиться. И никогда Макар не соглашался. И смеялась, слыша то, Раиса. И гремела оглушающая музыка. Старались наемники, изучившие вкусы Макара. И толстый трубач направлял своего медного зверя в Макарово ухо, и часто играли пьесы, где можно было пустить в ход турецкий барабан. И любо было Макару перекричать оркестр. И если бы музыканты брали с ресторатора лишние деньги за грохот, тот не был бы в убытке.

И в те часы менее боялся толпы Семен.

И уходили музыканты. И входили-вбегали арфистки толпой. И придвигал свой стул Макар, и жадно-веселыми взорами впивался в ряды пудренных плеч над пестрыми тряпками. И опускал взоры Семен и болезненно хотел говорить Раисе слова утешения, и не было таких слов. А арфистки пели, дергали плечами и ногами; ухарски оборвав нить песни, кидались в толпу гостей; и те, разомлевшие, хвастаясь друг перед другом кошельками и бумажниками, быстро наполняли деньгами побрякивающе несшийся бубен. А Макарова лепта была то чрезмерно велика, то бедна.

XXX

– Да. Так вот он какой человечек.

– Уж и зятек.

– Все они таковы. Вся семейка.

– Ну уж... Макар-то наш. Поискать.

Беседовали так старики Горюновы. И две свечи озаряли их лица. И был Михайло Филиппович сосредоточенно зол, а рыхлая, желтолицая жена его суежилась и часто вздыхала.

– А ты что? Или за три-то года не привыкла? И я дурак, бабу слушал, сколько раз срамылся. Или, по тебе, приличествует купцу Горюнову, храмовому ктитору и кавалеру, на старости лет замки целовать...

Помолчал, как бы ответа ждал тотчас. И грозно добавил:

– А? Молчишь? Забыла?

И вот спокойно-рассудительно:

– А по-моему, все виноваты. А поболее всех Раиса. Она и жена, она же и дочь. Все бы смогла, кабы захотела. А захотела бы она, чтоб в отца с матерью весь город пальцами не тыкал, лишь в том разе, кабы внушено ей то было с детства. Так говорю?

И опять помолчал. И на красном бритом лице, одутловатом, зашевелился гнев.

– А вы бы, Михайло Филиппыч...

– Молчать!.. Кабы с детства внушено было дочери к родительскому дому, а паче к родителю почтение, не привелось бы на старости лет вместо вороньего пугала либо петрушки у людей быть. Ныне только ленивый да святой не засмеет. Носа не кажи. Воспитали дочку...

– Да ведь то Макар...

– Молчать! Макар! Макар! Что Макар? Известно, самодур. Я Макара-то уж сколько время не видал. А Раисины слова да поступки – вот они все.

И громадную красную ладонь к глазам жены подвел, и пальцем другой руки на ту ладонь указал. И за грехи дочери любимой устрашилась мать: так проста показалась мужняя ладонь. И ничто из Раисиных греховных деяний не останется тайным. Но как мать, как женщина, хотела заступиться. Но слова сказать не успела.

– Молчать, говорю! Когда в прошлом году у зятя под верное просил, твоя Раиса много мне устроила. В ту пору, как выдавали, деньги-то как нужны были. Из-за приданого из-за ее магазин-то я пошатнул. А кто тогда сверлил: приданое чтоб как у первогильдейских! Не ты? Кто в те поры, аки диавол искушал: сторицею вернешь... Вернул! А ныне, кроме всего – позор... В те поры, как Макар, почитай, неделю меня за нос водил, а под конец всего через Агафангела, через ехидну эту, отказ прислал, в те поры, говорю, много мне Раиса, дочка возлюбленная, помогла? Четыреста сорок шесть целковых принесла. Или оттого те деньги дороже стали, что в бархатном кошеле лежали, да на империялы наменяны были... Вот, говорит, папаша, возьмите; все, говорит, что могла. Беру кошеле, обрадовался. Спасибо, говорю, дочка. При ней не открываю. Думал, устроила, умолила. Ушла. Ахнул. Чуть удар меня не сразил. Четыреста сорок шесть целковых. Умирать буду, суммы той не забуду.

– Да ведь не дает он ей много, свои она...

– Молчать!.. А когда у Семена хотел через нее, словно как отрезала: этого, папаша, не могу я. Не могу? Знаем мы кое-что!

И так глянули на старуху устрашившуюся некие думы с гневного брито-красного лица, что закричала, замолила она, руки поднявшая:

– Бога ты побойся, Михайло Филиппыч!

– Молчать! Бог-то все видит. А мне его бояться в этом деле не приходится. А по какой причине – услышишь, старая, в свое время... Спасибо Раисочке, спасибо дочке. Так подстроила, что, когда я уж сам к Семену, – нет, говорит, не могу, говорит; деньги у нас в делах, к тому же неделинные. По глазам вижу, что не свои слова говорит. Вы, говорит, к Макару бы. А сам покраснел, глаза в землю. Молчу я. Что еще соврет, жду. Раиса, говорит, Михайловна... А дальше ничего. Закашлялся, прощайте, говорит, пора мне. А что – Раиса Михайловна? Знаем мы, что Раиса Михайловна. А коли уж так...

И кулак Горюнова ударил об стол, и в комнате зазвенело.

– Коли уж так, так ты, распутник, вдвойне дай, а не то, что прощайте, Михайло Филиппыч, нам, дескать, пора. Куда тебе пора, паскудник?.. А ты – молчать! Не ахать! Чего креститься-то зря. Слушай, куда речь поведу... И за последнее Раисочке, любимице твоей, спасибо, в ножки кланяюсь. Ишь ведь! Три дня бегала. Вы, папаша, то; да вы, мамаша, это... Лисьи слова разные. Дом у нас отстроился, в дом переезжаем, но только ни бала, ни обеда, верно, не будет. Зря в городе говорят. Или, может, так, только его родня. Три дня ведь. Лиса! А ныне что? Весь город у зятя. Только вот тестя забыли позвать.

– Да ведь она словно мученица здесь вот сидела, не знала, как сказать... Макар это...

– Молчать! Подожду-ка я, посмотрю, какой еще позор на голову мою дочь твоя возложит.

И двинул богатырскими плечами старик и правой рукою задрожавшею взял-поднял медный шандал. И заплакала свеча, руку горячим окатила. Не почувял. Стоит со свечой. Или позор дома своего купеческого разглядеть получше хочет и хозяйке своей показать.

– Молчать! Вот к чему веду. Коли бы дочь в страхе воспитана была, коли бы вместо гимназии ей любовь да уважение внушены были к отцу, не то бы было. Да и с гимназией вместе оно бы можно. Старики-отцы по своему времени тоже не пастухи были и во всяком разе с Макарово-то произошли. Но не к тому...

И голос старика, предвкушающе-спокойный, был страшен, и дрожала жена его мелкой дрожью перед мужем, во весь рост вставшим со свечой в прыгающей руке; дрожала, в кресле сидя. И хотела встать, и руки в поручни уперла. И не могла. И слушала.

– Коли бы дочь по-божьи воспитана с измалолетства была, не видел бы я ныне позора, стариком будучи. А воспитывать кому надлежало? Или отцу, что с шести часов, как вол, на семью работает? Отцу? Не матери ли? Прими же ныне коли так на свою голову грех мой, коли то грех. Не дочь она мне! Не дочь! Может, и ей легче будет, как через год, через два меня нищим увидит. Не отца увидит. Пусть нищим буду! Сам хочу ныне. Не для себя спину гнул, о детях думал. А коли все дети такое спасибо скажут, – не надо мне ничего.

И выше и грознее стал старый купец, и свеча в правой руке его выросла, стала как свеча диаконская. Или так высоко поднял старик шандал... Захлебнулся было, но прокричал:

– Проклинаю дочь мою!

И мимо старухи – а ей показалось, что вот умирает она, – пролетел медный шандал со свечой задымившей.

Сразу загорбившись, бабьих слов глупых не дожидаясь, прошел Михайло Филиппыч, похозяйски сапогами стуча, но с дрожью в спине и руках, прошел в кабинет; туда, в маленькую комнату, где ничто не менялось за весь его купеческий век; где ясеневое дерева конторка честно хранила документы его малых поначалу дел, где та же конторка, но уже с продранной клеенкой наверху, гордилась свидетельствами больших богатств и где ныне, как во всех стенах, принадлежавших старому Горюнову, канун разорения пел-шептал свой тропарь.

Лишь через полчаса очнувшаяся хозяйка дома того прошептала:

– Водку пьет.

Не видя, ширились ее свинцовые глаза. А тусклые, избитые страхом думы не знали, куда кинуться: туда ли, в Макаров дворец, где отцом проклятая дочь в белом платье с гостями разговаривает; здесь ли в дому по углам шарить, где страшное встает-нарождается. И тряслась голова, и не слышала хозяйка телесными ушами шепота молитв на мезонинной лесенке. Но утешала себя, не утешаясь надеждами неосознанными. Шептали губы ее:

– А Бог-то? А Бог-то?

А на ступеньке темной лесенки, сдерживая предсмертный кашель в груди своей, сидела, шепча молитвы, дочь Пелагея; призывала мир на дом сей святая девственница, в свое православное небо влюбленная, заблуждениями близких людей прикованная ныне к временному, к житейскому.

XXXI

Да. Три года прошли с Макаровой свадьбы. Рано по весне свалили леса, оплетавшие Макаров дворец. И могучий, грузно-стройный предстал он весенне-разлившейся Волге-реке. Хитер был веселый Макар. И хитрый Знобишин понял его. Так строили, чтоб не только в день, когда леса падут, но и на много-много лет в городе не было дома, тому дому равного. Ни у кого ни дерзости, ни капитала не хватит. Строено не для балованного глаза только, не на год, не так, как затейные беседки в помещичьих садах, из щепочек, алебастром помазанных да под вечный

гранит покрашенных; строено честно, как царевы дворцы в старину возводились, когда мысль смело смотрела сквозь смертные стены поколений, не видя стен тех. Все в Макаровом дворце без обману. Где мрамор виден, то мрамор тот настоящий и в вершок толщиной, не как теперь на заграничный манер пилят, словно картонные листы. Колонну каменную глаз видит, верь, рукой не пробуй – не зазвенит, не пустая. И в капитель колонны той верь: бронза, не картон золоченый. И в бронзе той меди и олова, сколько в старых списках сказано. И если через сто лет в городе том будет война, и ударит чугунное ядро вон в ту стройную арку, и отшибет ядро ухмыляющуюся рожу старика-сатира, ничей глаз не увидит на том месте ни гнилых балок, ни ржавых костылей. А увидят правильную циркульную кладку, и ранее искрошится в меру прокаленный кирпич, чем сдаст прослойка верного цемента.

И знают Макар со Знобишиным, что если блеск века принудит какого-нибудь франта воздвигнуть дом роскошнее их дома, то подлость века воздвигнет дом тот на обмане. И глаз знающего человека увидит то сразу, а в годах увидит то всякий.

Неустанно боролись Макар и Знобишин с паутиною подлости человеческой, с паутиною, вот уже многие десятилетия опутывающей всякое строение земли русской. Всякому хочется украсть: маленькому – маленькое, большому – без конца. И рублевых воров Макар, визжа и ногами топая, ругал, а Знобишин, ухватив за ворот, спускал со сходней; а с ворами тысячными судились.

Три года тянулось. И после того, как однажды, сверкая глазами и рыча, разбил Макар лопатой двадцать кариатид верхнего этажа, не боясь упасть с прыгающих досок, поняли враги-мошенники, что нужно тут наживаться иначе. Стали обманывать не в ущерб прочности Макарова дворца. Много возможностей видят опытные люди. А подрядчик московский, поставивший гипсовые, цементным раствором покрашенные кариатиды, долго чесал в затылке и крутил рыжей головой, приговаривая:

– Ишь ведь ты...

И наспех высчитывал убытки, порожденные его хитростью.

Свалили леса по весне. И потянулись горожане на гору. Ходят, смотрят. Мало кто любил Макара, да и всю семью его. Железного старика боялись, над сыновьями его потешались. Но глядя на осуществленную затею Макара, даже самые враждебные граждане могли сказать в осуждение лишь:

– Ишь, голых баб налепил.

И еще:

– Ладный домина. Что и говорить. Только разорился теперь Макар. Знаем небось во что это ему въехало. А денег и у него не без конца. Коли бы доходный дом.

Но более спокойные возражали:

– Макар не запутается. Вы его долю в миллион с сотнями считаете? Ан, они уж Вячеславов кус поделили. Федора в деревню загнал, по трешнице на пропой выдают... Тот – слышали, чем болен... долго не протянет... опять поделят. Доримедонт – дурак. А те... как их? Младшие-то... Один с горбом, другой... А мать-старуха?.. Ну, сестер не считаю: отрезанные ломти. Э! Да что говорить. Через малое время все у Макара да у Семена будет, у двоих. Макар не ошибется. Ведь он когда стройку-то затеял? Мне, вот, скажем, только теперь их дела несколько видны. А он пораньше все раскумекал. Нет! Тут не на один дворец хватит. Да ведь такие-то деньги и растут не как наши.

Переезжать в дом весной еще нельзя было. Паркетные работы, всегда последние, не закончены. И сырость в новом доме. Окна с цельными толстыми стеклами открыты, а где и стекла еще не вставлены. День и ночь в подвале под громадным котлом центрального отопления дрова пылают. Мусора с постройки на месяцы хватит, не жалко. И еще временные печи в залах и на лестницах поставлены, железные, и трубы от них длинные, коленчатые протянуты. Сквозной ветер по дому ходит, сыр выгоняет.

Но Макар целыми днями в стенах завершающегося чуда-дома своего. Часто и обедать к Раисе не едет. Кстати, полюбился ему художник итальянец: веселый парень, чернявый, на потолке лестницы парадной, мраморной, какую-то богиню творит. На высоких-высоких подмостках лежит, красит, итальянские веселые песни поет. Строительное дело Макар за три года вплотную узнал, ничем не удивить. А живописи нисколько не понимает; итальянских слов тоже. И тешит его художник. С ним он тут часто и обедает; красным вином запивают баранину. Потом коньяк пьют. И еще веселее запоем, еще непонятнее, чернявый итальянец, забравшись под потолок.

– Коли работа твоя сдельная, можешь ты и покалякать, и вино попить. Ну, и наука твоя не рядовая. Зато поденных с глаз не спущу.

К концу лета сыр и запахи разные выгнали, мебель заказная прибыла; малую часть обратно послали с грозными письмами.

– Вам деньги платят настоящие, и должны вы по рисункам вы полнить до точки.

Окруженные горами счетов, чертежей, сидели Макар и Знобишин, лбы терли, коньяку пропасть выпили, не захмелев. Считали. На подмогу двоих из конторы вытребовали.

– Так и есть, Петр Петрович! Шестнадцать тысяч перерасходу.

– Да что говорить! Верно. Милльон шестнадцать тысяч сто пять, Макар Яковлевич!

– Как же так, Петр Петрович?

– Да так. И не такие перерасходы бывают. А вот в казне...

– То казна! Нам не со слепых пример брать... Ах, Петр Петрович, надеялся я на вас...

Заслышал строитель искреннее огорчение в голосе Макара и говорит сразу, и не понять его: серьезно ли, шутит ли:

– Дело большое, Макар Яковлевич... А я тут столько же, сколько и вы, повинен. Оба везде были и во все вникали. Но коли хотите, эти шестнадцать тысяч на себя беру. С моего счета спишите. Правда, это выходит почти что все за рисунки мебели, ковров и бронзы; ну, да за чертежи дома и за наблюдение мое мне останется. Только знайте, Макар Яковлевич, до пяти процентов против сметы перерасход нигде грехом не считается.

Влюбленными глазами оглядел Макар строителя, пробормотал:

– Ну, у нас другие условия были писаны.

И засмеялся, забегал, бумаги ворочает, ищет. Нашел.

– Нет, Петр Петрович! Мы иначе сладим. Вот эти пишут: мебель в большую залу только что начали, другие заказы были, через полгода обещают. А вот от Шульца: четыре канделябра темной бронзы шесть тысяч пятьсот. Можем приступить к отливке в начале августа... Это на лестницу. Великолепно! Лучше не надо!.. Эй, вы! И Шульца, и Киришбауму телеграммы сей же час: заказы отменяются... Шест тысяч пятьсот, да четырнадцать тысяч – двадцать пятьсот. Там шестнадцать тысяч сто пять... Шульца за формы пустяк... Покрыто! Остаток вам, Петр Петрович, за вычетом расхода на венские стулья в залу.

И засмеялся весело. И подбежал, и шаркнул ногой.

– Ай, не говорите! Ничего не говорите, Петр Петрович. Решено... Так и подсчитаем: ровно миллион. А мебель потом как-нибудь справим. Не бойтесь, Петр Петрович, не на век вас осрамлю.

И жали друг другу руки. И говорил Знобишин вкрадчиво-испуганно:

– Ну, мебель так. Мебель подождет. А зеркала в залу? Пусть Киришбаум хоть зеркала пришлет. Ведь кирпичная кладка там торчит.

И смеясь, но решительно кричал Макар:

– Ну, уж это из вашего лишка. Из вашего лишка заказывайте!

И, довольные друг другом, ходили по всем по трем этажам, и в росхмель прибыли к Раисе, и от остывшего самовара утащили ее и испуганного Семена в ресторан за реку.

А через несколько дней, утром, переехала семья в чудо-дворец на гору.

А был тогда у Раисы второй сын, Виктор. А имя ему нарекли и поклялись церкви, в лице протопопа Льва, наставлять в православной вере те же: бабушка и Семен, дядя.

И не позволил Макар брать туда разного накопившегося в домике наемном хламу. И много любимых Раисой вещей, хохоча, сжег в камине. Погибли и некоторые подарочки Семена. Стыдился Семен дарить Раисе дорогое. А дарить любил. Иногда радовалась.

И так настал день торжества.

В большой зале столы. Много именитых граждан, не мало и новых любимцев Макаровых. И родня. Обе сестры были. Младшая, Анна, из Петербурга с мужем приехала, праздника братнина ради.

В столице они обосновались. Кузьма Кузьмич Шебаршин, слышно, большими делами в столице ворочает. На Морской дом. Приемы. Любовь, старшая, Брыкалова, в Москве и в Питере с мужем пожив, недавно сюда совсем переехали, в доме на Торговой живут, дом на горе купили, отстраивают. Брыкалов мануфактурное дело сюда переводит.

Из братьев отсутствовали маленький Корнут, Вася и опасный Федор. И, конечно, Вячеслав, далекий Вячеслав, мзду-страдание великое приемлющий.

Был и Степан Степанович Нюнин, двоюродный дядя Макара, тощий, не по годам дряхлый, слюняво хихикающий. А супругу его, могучую Ольгу Ивановну, в городе бой-бабой зовут и командиром. И она была. В красном платье. А всего гостей было более сотни.

А тетя Саша людей испугалась, вниз в свои комнатки убежала. Чудо чудное, пропал тети Саши домик, где сад был, где что, – не понять ничего. Однако в спальне, в милой, любимой сидит, Волгу вечернюю видит; будто все по-старому, по-грустному. И канареечка птичка.

И бродили званые гости по дому Макарову, и понимающие дивились более непонимающих. И часто катилось, прыгало и змеей ползло слово:

– Дворец.

И шепотом, и громко, и лживо, и искренно рожденное.

И обедали. Стучали, ели, пили, говорили, к хозяину тянулись, хозяйке подобострастные речи говорили в белых стенах, где голые амурсы и голые по пояс девы немые.

А сидела Раиса меж двух братьев. По левую руку Макар, по правую – Семен. И улыбалась. И отвечала радостно во дворце гостям.

И радовался Макар. Хорошо все.

Но не было Петра Петровича. И огорчен был тем Макар, и радовался тому:

– Деловой человек! Золотой человек! Под Москвой дом строить графу поехал. Недельку отдохнул; последний день не знал, куда девать себя, без дела тоскует, телеграмме обрадовался, поскакал, дня остаться не захотел, чтоб на обеде этом быть. Это, говорю, крестины дома. Без вас не праздник. Здесь, говорит, безделье, а там дело.

И огорчен был Макар, что нет ему здесь за столом ровни по делу. Что понимают! И радовалось сердце его:

– Золото-человек! Какого человека нашел!

Давно уже сверкали огни: и лампы, и свечи. Семен наклонился к жене своего брата. Радостное слово сказать ей хотел. Устрашился, увидев. А бледная Раиса ему:

– Я уйду. Проводите.

Шепотом резким.

Но в гомоне, но в смехе не слышали. Радостно-бездельные, не заметили.

Семеном ведомая, идет Раиса, тяжело на руку его опираясь. И оба, не зная дома того, не знают куда идут.

Где-то села, как только почуяла, что голоса-крики в уши не бьют. Села, вся склонилась.

– Раиса Михайловна! Что?..

То Семен скорбно-радостный.

Молчала. Потом тихо и жалобно.

– Папашу жалко. Обидели мы папашу. Не так все. Не так.

И сказав, и слыша испуганное молчание близко, а там далеко грохот-хохот хрустальный, заплакала тихо. И забыв, где платок, руку к глазам прижала. А на руке обручальное кольцо и еще кольца – Макаровы подарки. А там, дальше, Семенова браслетка, тоненькая проволока золотая у кисти, букву имени ее плетет: «Р».

Затрепыхалось Семеново сердце, кинулся к женщине единственно любимой, кинулся и душою, и телом. Сказать! Все сказать! Ее утешить, себя осчастливить. Ангел! Ангел! Радость!

Но ничего не сказал. Неловко сел где-то рядом, что-то повалив. Тихо плакала. И молчали. И слушали далеко-близкий грохот.

XXXII

Семен, Семен! Раб Божий Семен! Отойди от зла и сотвори благо.

Ночи душные, ночи бессонные, ночи страшные.

Не приходит в маленькую комнатку дома своего железный старик; в ту комнатку, где Семен с Доримедонтом спят. Или пожалел сына, или не гневается? Увидел душу Семенову, голубицу, вранами истерзанную? Ему виднее оттуда. Потолком не грохочет железный старик над изголовьем старшего сына; разбудив, не предстает, грозный; лампадного света тихого не колеблет.

Большими делами ворочает Семен. Как башенные часы аккуратен. Ранее Агафангела в конторе. С ним вместе уходит. Много-много миллионов прошло через Семеновы руки. И в кассу, и из кассы. И в золоте, и в бумажках, – грязных, рваных, – и в цифрах. Одним Макаровым подрядчикам сколько. Все ведь через контору. У каждого брата свой счет. Но пока у Макара лишь сильно поубавилось. Тогда испугался даже Семен. С Макаром разговор имел. Успокоил Макар старшего брата. Но на другой день, когда Вера, Тараканихи дочь, из Лазарева приехала, от больного Федора письмо привезла, не приняли ее, до Семена не допустили. Агафангел важный, брови на глаза надвинув, перед ней стоял молча, руки за спиной. Так и ушла.

А по общему делу, по железному, каждый рубль на семь частей делится, по всем книгам проводится. Семен с Агафангелом, с премудрым стариком, дела вершат, в тяжелые дни сомнений братьев не спрашивают. Доверенность. Да те и не хотят.

Не боится дела Семен. От дела не бегают. Часто-часто днем хорошо ему в конторе. Спина чуть устала, расторопные, послушные помощники радуют хозяйский глаз. Ненадежных да шальных людей Агафангел неподкупный не допустит. Письма из разных городов. А в письмах приятная почтительность и мудрые цифры. И ранее было так, что писали и все железного старика поминали.

«Как покойный родитель Ваш нам кредит оказывали...»

«Как при покойном батюшке Вашем, царство ему небесное, заведено было...»

Но теперь, давно уже, нет того.

«Милостивый государь мой, Семен Яковлевич...»

«Если Вам, государь мой, Семен Яковлевич, благоугодно будет...»

«О уме Вашем, государь мой, Семен Яковлевич, в делах железных премного наслышаны будучи, уповаем, не соблаговолите ли...»

И тихо радуется Семена ежечасно. Однако за четыре с лишком года обороты фирмы немало поубавились.

– Поначалу, после кончины папашенькиной, много упущено было... по причине вашей, Семен Яковлевич, непривычки-с, чего в вину, однако, поставить никак нельзя-с... А я хотя и при деле был, однако, человек сторонний, за фирму не отвечающий и многого не могущий... Потом, должен вам доложить, недоверие некоторое породилось по причинам многости наследников-с. Пока настоящее узнано было-с. Ведь у нас при папашеньке-то как-с? Векселя? Нет-с!

Векселей наших мало было-с. Бумажки клочок-с. И потом: хотим – сегодня платим, не хотим – через полгода. Страху за нас никакого-с. А в папашенькиных руках деньгам расти вольготно было. Бывало за сутки, коли счастье, у нас государственного банка процент за год-с... Подождем. Опять, Бог даст. Да и не так плохо-с...

И скрипяще-медлительный голос премудрого Агафангела успокаивал главу фирмы.

Боясь строгих глаз Агафангела, соблюдал старину Семен. А не мало повидал он новшеств, когда раза два по делам в Москве был. Одно отстоял за четыре года: покупает ныне контора почтовую бумагу и конверты. При железном старике от получаемых писем тыльный листок обрывали, на том и писали. А на конверты серую бумагу резали, бурым сургучом припечатывали.

Но против печатного заголовка, только что тогда кое-кем вводимого, Агафангел строгий восстал.

– Кредит тот же час упадет. Фокусы эти новеньким нужны. Да еще не очень честным-с. Да еще тем-с, у коих в кармане-с блоха на аркане-с.

Хорошо в конторе Семену. Большое дело блюдет на стезях его, не им на стези те направленные. И старик мудрый, неподкупный, отцом железным завещанный, рядом. Хорошо Семену в конторе. Почти счастье.

Немного раз, здесь сидя, помыслил Семен, об отце вспоминать страшившийся:

– А были ли у него думы помимо железного дела? Помимо денежного?

Но гнал кощунственные рассуждения неокрепшего сыновнего разума.

Вне конторы Семен непокоен. Одолевают слабого духи-искусители, духи города, порожденные в разные времена протекшими здесь жизнями. И живые люди – те, что хотят, то с ним делают. И чуя то, бежит. Но ото всех не убежать живому человеку.

Из конторы наверх пройдет, с матерью, с братьями обедает, Доримедонт, Василий. Корнута уж двенадцатый год пошел, и Корнут с большими обедает, горбом своим материнские глаза терзает. От не близких людей – гости случаются – Корнута нянька, Домна Ефремовна, уводит: не то стыдится, не то сглазу боится. Врач, русский немец, к обеду приезжает, Генрих Генрихович Люстих. Хозяйка прихварывать стала. И Люстих теперь годовым врачом. Привыкли к нему: еще старика, случалось, лечивал.

Про Корнута говорит:

– Жить будет. Хилость пройдет. Горб останется. Питание! Питание! Не переутомлять!

Обедают. Если слишком безмолвная минута народится, Генрих Генрихович шутку надумает. Пища лучше усваивается. Питание! Питание!

После обеда идет Семен в комнатку свою, спит час. Ровно час. Утром рано вставать, а ночь сна ему мало дает.

Послеобеденный крепок сон часовой. Ночью же лампадною дрема. И от дремы той еженощно пробуждает Семена видение. Добрый старичок посещает. Когда впервые повиделся, подумал Семен: отцова душа. И, правда, похож. Росту высокого, в сюртуке длинном. Но не грозит. А когда лицо разглядел, видит: нет, не он. Очи добрые, лаской лик сияет. И стал приходить еженощно, и беседы повел. И с каждой ночью выясняться лик стал. На отца, на железного старика ничуть не похож: волосы не короткие, белые, борода не малая, чуть в желтизну. И ростом стал уменьшаться. И вот уже давно добрый старичок ночной совсем маленький. И ростом, и повадкой, лицом даже походить начал на Василия Васильича Горюнова.

Василий Васильич Горюнов, тому Горюнову, Михайле Филипповичу, дальняя родня.

Старичок милый, бедный-бедный, одиноко живет, в кухне у начетчика, сам себе картошку печет, а то варит; лишнее заработает – селедку купит и чай с леденцами пьет. А зарабатывает хлеб свой насущный Василий Васильич торгом старинных вещей. Знающий человек. И другим знающим то дело людям он очень нужен; и ценят его, и за честность любят.

– С Васильем Васильичем без обману.

Случается, в кухне у начетчика и тысячная вещь по неделям лежит.

Заходят люди, торгуются. Но город не столичный, тонким делом тем не разживешься. Художник в городе один, любители есть, но без настоящих капиталов. Зато, когда случится Василию Васильичу разыскать вещь, по старообрядчеству нужную, ликует милый старичок.

– Наперед в те поры чаек с леденцами пью. Коли бы винцом баловался, и винца бы фряжского укупил бы вволю, хе-хе. Потому денежки верные. Из-за Волги за триста верст приезжают. Только записочку послать. Так-то.

В книгах дониконовских силен Василий Васильич. По городу слухи:

– Сам-то он, поди, старовер. А то и не штундист ли...

И правда: в церквах православных во время службы его не видали. Но с псаломщиками, с дьячками шушукается. Дело его такое. Случается и через попов выгода. Обменивали с приплатой. Случается Василию Васильичу взять барыш немалый. Но редко.

– Но в моем деле без оборотного капиталчику нельзя-с. Потому и харч мой трехкопеечный. И двorca моего мне расширить никак тоже нельзя-с.

В трудные години к Михайле Филипповичу заходил, рубль целковый у него просил. Больше не брал.

Семен Василия Васильича раз с десяток видал, не более. И разговору настоящего не было. Но за говор ласковый, за лицо милое издалека тот ему мил. Раз как-то даже деньгами Василию Васильичу помочь немного хотел. Но даром тот денег не брал. Лишь у Михайлы Филипповича рублик. И то, случалось, возвращал.

– С благодарностью сердечною заместо процента-с.

И вот похож-похож Семенов добрый старичок ночной на этого милого старичка, ныне по Раисе далекого родственничка, на Василья Васильича Горюнова. И обликом, и говором милым похож.

А беседу ведет Семенов добрый старичок про божественное, но не по-поповски. И Семену дремотному в ночи лампадной чудится, будто старичок тот – родной его отец любящий. А тот отец, железный старик – будто память сна тяжелого, далекого.

И говорит-улыбается добрый старичок ночной, близ кровати Семеновой стоя, а то и на кровать присаживаясь, говорит-наставляет шепотком проникновенным. Спит – не спит Семен, старичковы речи трепетно слушает; а совсем очнется, подчас точных слов не помнит. Помнит лишь всегда:

– Отойди от зла. Сотвори благо.

Слова те еженощно добрый старичок неоднократно произносит, руку свою милую к сыну Семену простирая.

Очнется-проснется трепещущий Семен. Растаял добрый старичок в лампадной мгле. Доримедонт, свернувшись, руки в коленях грея, спит-храпит.

Колотится сердце Семенове. Вспоминает Семен смысл речей доброго старичка ночного.

– Про Раису, про Раису, должно, говорил. Страшный грех жену брата любить и далекою любовью. А разве далека любовь та? Разве свята?... Раиса, Раичка милая... Не могу отойти, не видать не могу. Сердце тихости хочет. С тобою побыть – счастья тихого выпить, побеседовать с тобой – свой домик найти. Нет у меня домика моего. Нет домика. Тяжело мне.

Так, такими словами шепотными, мыслит Семен. Слезы души гонят в лампадную мглу певучие слова. В лампадную мглу комнатки, где, еще и ребенком будучи, плакал.

– И еще говорил, и еще говорил старичок. Про Настасью говорил... Забудь, говорил, не люби, говорил; отойди. Не пара. Жизнь свою загубишь. А там уж чуть не жених. Люблю Настасью. Страшусь и люблю. Отойди от зла! Отойди от зла! Боже мой... Боже мой...

И ненавистью и стыдом глядит Семен на выпавший из-под подушки учебник французского языка.

– На тридцать-то втором году! Глава великой фирмы. Миллионер волжский!

И чувствует, стыдом пылающий: околдовала его Настасья, генеральская дочка. Околдовала, окрутила. И глазами, насмешливо сощуренными через золотой лорнет, и на рояле бойкой игрой, и телом, телом своим царственным, и тем, что дочь генерала Бирюлина, в двух войнах израненного, важного, от царя многими регалиями жалованного. Скоро благословят. Скоро. Так дело повелось.

А позор Дарьина отказа. Не прогорел еще тот пожар. И про то старичок добрый шептал: – Отойди от зла... Отойди от зла, сотвори благой.

Трепещет Семен в ночной борьбе стыдом, любовью, отчаяньем. И тою еще мукою своей тайною, стыдною.

И вот дремлет, – истомленный; под певучий храп иного сновидца, Доримедонта. Дремлет нечаянной дремотой.

– Семен! Раб Божий, Семен! Отойди от зла, сотвори благо.

...Павлин-птица! Павлин-птица! Стой! Держи! Улетит!..

XXXIII

В Лазареве белая зима весь парк замела. Тропин нет. Никто давно в парк не идет. Скрывает снег ласково-холодный следы разрушения, смертельные раны на графских затеях, на века воздвигавшихся. Перед флигелем, через двор, перед флигелем, где теплится страдальческая, грязная и воющая жизнь, торчит башня ненужная. На ободранный бок свой покривилась башня.

– Того гляди – сверзится дьяволова дылда.

На кирпич разобрали дом, который башня караулила, плечом о дом тот опираясь. Разрушили торгаши на века возводившиеся стены, и страшатся ныне близко подходить к погосту графского гнезда.

– Того гляди – убьет дьяволова дылда... Ишь, какой крюк давать занадобилось! Коли повалится, чугунный-то блин тот, эх куда хватит!

– Разобрать бы...

– Подступись, Еруслан Лазаревич! Лезь, разбирай, рушь. А мы вон оттуда поглядим.

Вера, Тараканихи дочь, ростовщицы, в разоренном гнезде хозяйничает.

– Да уж, братцы! Хозяйство у нас – лучше не надо. Кур доим, на кровле пашем, камешки сеем.

Вера, с лицом желтым, злым, за те короткие годы совсем старуха стала. Как-то на днях случилось рано встать; солнце, от серебряного снега отражаясь, в окна бело-огненными стрелами летит, глаза слепит.

К зеркалу Вера подошла. И тягучи мгновения те были. Завыла, зеркало со стены сорвала, об пол разбила.

– Это в двадцать-то четыре года!.. Уходил, черт... Ни дна ни крыши, окаянный, болячка пьяная! Или заразил? Или заразил?.. Нет-нет... В те поры в Заречье была... Или раньше? Нет-нет! И лекарь сказал... Мать Пречистая!

По комнате, руки сжимая, заходила-забегала; стекла под ногами трещат-шуршат.

– А! Зеркало разбилось. То к покойнику. Что ж. Поскорей бы. И то хлеб. Ха-ха.

Мамка с ребенком вошла.

– Пошла ты к черту – к дьяволу! Места вам мало в мезонине...

Двое детей у Веры от Федора.

Могучая зима бесстрастно-холодная, подобная смерти, не шумя, клеит мертвые кристаллы свои. Галки, вороны, черные птицы белой зимы, тоскливо-бездумно кричат над жильем людей.

Полдень, мертво-белым сияющий.

Невдалеке от Лазарева, путем ему ведомым, пробирался, людям на глаза не попадаясь, Гедеон Рябошапка; ранее мещанин близкого уездного города, ныне лишенный всех прав. Так сказали судившие его.

Идет Гедеон Рябошапка к нужному человечку. Идет-пробирается, таясь: все прочие люди не нужны ему и опасны.

Полдень, мертво-белым сияющий.

Идет-спешит от попа Ивана Вера Тараканова. Ныне менее злобы на желтом лице ее. По селу идет-бормочет, рукой на ходу по-солдатски машет.

– Не отвертись, болячка пьяная... Господи, благослови.

Не боится Вера страшной башни. Тут бы прошла в старые ворота.

– Авось не пришибет...

Но замело. Увязнешь. Вон где теперь дорогу наездили.

– Черти заячьи...

И шла, ругаясь. Двое навстречу прошли. Шапки сняли. И разминулись; не поклонилась мужикам.

– Что я им, чертям косяпым, за помещица далась... Нет! Дудки. Дело сделаю – завтра из норы этой вон. Осточертело.

Двор пустынный. Большой он теперь, как поле. И бесцельно с тем вон полем сливается. Разрушен замысел графский.

– Стой-стой! Михайла! Митрофан, что ли? Ишь обмотался! Не признать. Сани готовь. Сани готовь... Что?.. Нет! Нет! Те, большие, козовые. – И голос сбавила. Себе лишь шепчет к крыльцу идя: – Поваляйся в санках последний разочек. Чай, сидеть-то невмочь, болячка проклятая.

Вот в дом вошла, дверями загрохотав. В дом ненавистный.

– Прочь, чертова кукла!

Мамку-дуру с обоими детьми прогнала. Идет-спешит туда. Минута. Другая. Из двери спальни, куда вошла, вылетел графин, упал-покатился. Старый желтый хрусталь крепок.

– Кой черт водку ему дал? Не говорила, что ли? Ну! Вставай-пошевеливайся, болячка пьяная. Чем стащить-то тебя, гниль поганая. Ну, нет! Рук марать не стану. Знаю: задерешься, чертова сатана. Ну, уж от рук твоих, от поганных, подалее. Анка! Анка! Веревку давай... Что, дура? Ту самую. Барина твоего стащить.

И закинули. И тащили. На полу очнувшийся Федор отворачивал лицо свое от лившейся на него из кувшина воды; но ничком лежа, хлебал из грязной лужи. И скоро отрезвел. И сев посреди комнаты, и мокрыми руками оправляя мучительные два пластыря на лице своем, прохрипел:

– Что, ведьмы?

И стал икать, уставив свинцовые глаза в близкое, являвшее бесстрастную зиму окно.

– Водки. Ведьмы.

И неверной рукой прилеплял подмокший пластырь.

– Водки, черт? Водки? Одевайся, болячка чертова!.. Анка, одень его. Одень ты его, проклятого. Вон поддевка его висит. Не могу я. Рубль тебе дам, Анка, одень. Сюртук бы лучше... Где евовный сюртук? А, да ну!.. Эй, лучше не трожь! Эй, лучше не трожь!..

– Водки.

– Цыц!

– Стаканчик. Тогда пойду. А куда идти?

– Венчаться поедешь. Вот куды. Венчаться.

– Ведьмы.

– Сам черт дурной. Анка, скорей.

Пара плохих лошадок тащила ковровые сани. С Анкой рядом сидя, морозно-предсмертно дремал Федор, выше шапки укрытый большой шубой. Ненавидящая своего мучителя Вера – напротив, на узком сидении.

– Затолкает там-то.

Мыслил Федор болящий, Федор пьяный:

– Ведьмы! Ведьмы!

И одним глазом видя ненавистную Веру – лисий мех-воротник лицо его больное греет, – дремлет Федор предсмертной дремотой и сам на себя дивится.

Вот, так недавно здоровое тело покрылось ненавистными язвами, лекарь, болван, черт знает чем лечит. А тот, приезжий, говорит:

– На Кавказ и не пить.

– Знаем мы!

– К церкви! К церкви! Куда еще? Заворачивай!

– Нет. Дальше езжай!.. Кататься хочу. Дальше езжай!.. Что?

Привстал. Бушует. Дальше проехали. Но пора. Но пора. Ждут там.

И видится Федору предсмертному; чудится неясное. Железный отец? Нет. Страх смертный? Нет. Верка дура? Нет. Так что-то. И страшно, и морозно-никчемно-пусто. Жаба крокодильская, зверь зеленый в церковной ограде ползает, невнятно чавкает, язвы с Федора слизать хочет. Слижет – и чисто тело станет. Но жаба крокодильская страшна ему, омерзительна.

Бормотал-спешил поп Иван. Свечей мало горело. Кто-то овцой пел. Поддерживаемый под плечи икающим человеком каким-то, Федор не слышал, не видел того, с жабой крокодильской беседу вел: то призывал ее, чтоб язвы слизала, то, страшась, гнал прочь. Невнятно отвечал-чавкал зеленый зверь, в ограде ползая. И гнилой капустой от зверя несло.

К ночи злобно-веселая Вера, бродя-бегая по грязным комнатам флигеля, бормотала:

– Лопай, теперича, прорва проклятая, сколь хочешь... Ишь, рычит... Рычи, рычи...

Разыскал Гедеон Рябошапка, мещанин, человеческих прав лишенный, нужного человечка. А звали того человечка Родион Рви-Борода. Идут двое в ночи морозной. Идут к городу. Идут-молчат Гедеон с Родионом, посошками помахивают. Далеко от Лазарева отошли. На заре колокольни повиделись.

XXXIV

Макар Яковлевич! Макар Яковлевич! Макар!.. Макар!..

Того самого Якова железного сын.

Чудятся Макару речи граждан изумленных. На людях Макар. Весело-радостно ему. Ходит-гуляет по городу, ездит-катается в театр, в рестораны. У самого во дворце гости вечерние. Беседуя, кричит Макар во весь голос. И радуют его чужие люди тем, что изумленно на него озираются, шепчутся робко.

«Верно, говорят, а голос у Макара, как у царя Петра Великого. Это сам Макар Яковлевич. Макар Яковлевич. Дворец его видели?»

И кричит Макар, грозно улыбаясь.

А в ресторанах и во дворце своем за ужином Макар грубо шутит, хохочет и поет, дирижируя. И радуют Макара люди, когда вдруг замолкают вокруг на мгновение и, ласково на него глядя, улыбаются.

«Верно, думают похож Макар на полководца генералиссимуса Суворова. Тот тоже в свободное от дел время петухом пел и у придворных дам шлейфы отрывал. Какой он милый, наш великий Макар, краса города. И не здесь бы ему красоваться, а в Москве, а то в Питере».

Много дела у Макара.

– Выше головы!

Круглым, четким почерком, в почерк тот влюбленный, пишет Макар письма деловые; на Конную часто по утрам ездит. Лошадное дело закрутилось. При дворце Макаровом конюшня на пятьдесят голов. Окна круглые, большие, решетки чугунные, шары на них медные.

Нелегко населить конюшню дворцовую. Одними лишь деньгами ничего не сделаешь. И опыт нужен, и любовь-охота, и умение спорить-торговаться до третьего поту. В том деле везде жди обману; везде фальшь может оказаться: и в возрасте, и в масти, и в копытах, и в глазах, и в самих аттестатах гербовых. А хуже всего то, что в том деле и обман за обман не почитается. Дал три тысячи вместо трехсот, и ездят на хромой, и слушай, как тебя же дураком обзывают. А Макарова конюшня и не только для городских рысаков строена.

– Как в котле киплю!

С лицом отдыхающего полководца сидел Макар в воскресенье в доме матери своей, в том доме, что на Торговой, где и родился, и рос. Сидел, о делах своих громко-весело рассказывал. И стены дома железного старика ни слова ему не шепчут.

Повелось так: по воскресеньям в доме на Торговой вся родня в сборе. И стол раздвигался в длинной столовой. И с каждой неделей обед роскошнее повар готовил; и уж дичь подавалась украшенная фазаными перьями, а осетр, обвитый узорами провансаля и иных лакомых снедей, изумлял даже полицеймейстера, нередко радовавшего своим присутствием Доримедонта. За стол тогда садился Доримедонт неизменно против полицеймейстера и изучал ордена и медали.

– Вы уж извините, ваше превосходительство; опять забыл, как вон тот красненький крестик называется.

– Ну, этот и вы заслужить можете, Доримедонт Яковлич.

Подполковник хохотал, бася. И все смеялись. А Макар кричал:

– Только вы не говорите, не говорите ему, как орден заслужить. Пусть сам придумает... Снаряжайся, Доримедонт. Иди турок бить! Или Китай завоюй! Меньше никак нельзя. Так ведь, Михаил Михалыч?

– Да-с, Доримедонт Яковлевич, это, должен вам сообщить, секрет большой. Орден, как сами изволите видеть, не простой и зря не дается. Однако заслужить и вы его можете. Попробуйте отличиться...

И хохотал подполковник, и водка была ему слаще. Только что случилась такая веселая беседа в это воскресенье, как вошедший поспешно слуга, наклонившись к уху Семена, кратко пошептал ему.

– Что? Что такое?

То Макар нетерпеливый.

Встал молча Семен, вышел. Макар за ним. В кухню прошли. Там Митрофан, конюх из Лазарева. Посреди кухни стоит; братьям вошедшим поклон.

– Федор Яковлич волею Божиею изволили скончаться. Барыня Вера Васильевна...

– Когда?

– Как!

– Вчера ввечеру... Барыня, Вера Васильевна, о кончине своего любезного супруга с прискорбием вас уведомляют.

Семена молчаливо-скорбного Макар локтем отстранил, к посланцу подскочил.

– В чем дело? В чем дело? Когда? Когда?

Задыхался.

– Вчера ввечеру...

– Молчи, бестолочь! Не о том спрашивают! Какая барыня? Какая супруга?.. Когда? Когда это там у них? Да нет. Быть того не может. Мой человек в среду там был.

– В четверг свадьбу справляли. А я тут ни при чем. Барыня, Вера Васильевна, почитай час меня учила да переспрашивала. Скажи, говорит, туда и так, говорит, и скажи: «Барыня, Вера Васильевна, о внезапной кончине любезного своего супруга с прискорбием уведомляют...»

Стоял Макар с открытым ртом, трясся, кулаки сжав. Повар, жирный, белый, Макара любопытно разглядывает, свое дело забыл.

– Как? Как? В четверг... В четверг... А в субботу с прискорбием... Семен! Пойдем, Семен!

И выбежал из кухни, таща смущенного Семена.

– Макар, тише. Ради Бога. Ведь брат умер... А ты, как на балчуге кричишь... Постой. Куда ты? Ты матери-то...

Но не пожалел матери, ворвался Макар к обедавшим и без торжественности выкричал слова свои. Семену бедному впервые так стыдно было за брата.

– Брат умер. А он не плачет, не жалеет, а как лев рыкающий...

И кинулся Семен к матери, в кресло навзничь павшей; и заплакала тетя Саша, Макаром напуганная; и стульями грохоча, засуетились все. Макар же, прыгая перед толстым полицей-мейстером, кричал:

– Нет, вы только послушайте! А в субботу – с прискорбием извещает... В субботу! Ведь вы Тараканиху, мать этой девки, должны же знать.

– А, ту? В Заречье? Как же, как же!

– Так вот оно, яблочко-то от той яблоньки, черт бы ее побрал. Нет! Мы эту девку в каторгу! В каторгу! К Вячеславу в гости! К Вячеславу в гости!

– Однако, Макар Яковлевич, вы этак маменьку-то вашу совсем уморите. А насчет каторги – это как же-с? Вы, стало быть, вашу, так сказать, невестку в преступлении подозреваете? Отойдете же, Макар Яковлевич, отойдете-с. Как-с? А! В таком случае... А! Гм! Как местный полицеймейстер до некоторой степени даже обязан... Хотя, конечно, дело прокурора. Но, во всяком случае, выслушать этого конюха могу. Не допрос снимать, не допрос снимать, как вы того требуете, но лишь выслушать, спросить. Потому что поводов к подозрению все же...

– Идемте, идемте, Михал Михалыч! Идемте! Эй, ты! Конюха того в кабинет проводи! Да живо!

Восторженными глазами впивался в обоих Доримедонт, издалека ловя слова. Когда ушли, за ними последовать не решился. А уж как хотелось. Отыскал Доримедонт Корнута, младшего брата, к окну отвел.

– Макар-то у нас! Макар-то у нас каков! В минуту убийство раскрыл. К самому генералу-полицеймейстеру. Вы, говорит, ваше превосходительство, обязаны всех этих разбойников тот же час арестовать и в Сибирь сослать на вечные времена. Всю, говорит, шайку... А там, знаешь, Корнутушка, целая шайка разбойников в Лазареве-то. Нашего Федю не то ножами зарезали, не то топорами зарубили. А Макар-то наш! Ему не страшно. Я, говорит, один туда поеду. Макар – голова! Быть бы Макару офицером... А я, пожалуй, Корнутушка, пойду в офицеры. Экзамен только выдержать надо. Да у меня знакомый семинарист есть. Говорит: не так уж трудно. А там чины пойдут, ордена. На войну пойти можно. Я, знаешь, как на войну пойду, заделаюсь артиллеристом. Семинарист рассказывал: артиллеристам, говорит, при пушках не страшно. Знай, со скалы пали. А им тебя не достать. К тому же все войско артиллеристов охраняет. Чуть что, сейчас отобьют. Что пушка, что знамя – врагам не отдадут.

Корнут с Доримедонтом в дружбе. Одному двенадцати лет нет, другому двадцати восьми. Но когда подолгу, случается, беседуют, не скучно обоим. И лица радостные. Корнут очень того полюбил. Брат Вася давно с ним слова не скажет. Злой по дому бродит, из дому надолго уходит, няньку ругает, всех ругает, и Корнута тоже. А Васе уж двадцатый год пошел.

Вбежали Макар с полицеймейстером, а все давно за столом сидят. Не вкушают, на чудоптицу глядят, тихо-грустно беседуют, подолгу молчание соблюдают. А на тот день повар из

разной дичи сделал пребоольшую птицу: на гусиной шее – тетерева-глухаря голова красnobро-
вая, крылья большие гусиные врозь, а в хвосте каких-каких только перьев нет.

Вошли-вбежали Макар с полицеймейстером. Все подняли головы, новому порадовались.
В стене слезливой тоски пробита форточка.

И кричал Макар, разрушивши чудо-птицу посреди стола, и, угощая подполковника,
заставлял его поддакивать. И кричали о том, что если та от чего иного отвертится, то все же за
то, что беспамятного и не в разуме человека на себе повенчала, по головке не поглядят; а поп
Иван в дальний монастырь дьячком уйдет.

И выкрикивал Макар о болезни Федора новопреставившегося и об его запое страшные,
дикие слова.

Грустью-задумчивостью Раиса, не видя людей, глядела. И вдруг побледневший Семен
уловил на минуту на губах Раисиных поигравшую насмешливо-злую улыбку. И понял, раз-
давленный, что душа любимой женщины играла в те миги убивающими словами:

– Ну и семейка!

И через полчаса, когда Семен решился с ней заговорить, не узнал он добрую, тихую
Раису, тайную любовь свою: гордо голову повернула, что-то краткое резко ответила. Первая
встала Раиса из-за стола, в залу прошла. И когда, еще через полчаса, не снес тоски своей Семен
и крика сбесившегося Макара и вышел в залу, увидел он спокойно-гордую Раису каменно-
сидящую с откинутой рукою и с высоко поднятой головой. На диване сидела, против той
стены, где портрет великого железного старика. Сидела, лица к Семену вошедшему не обра-
тила. И сел, робкий, возле. Взглянул – показалось: отвел глаза от сына железный старик, со
стены только что глядевший на Раису.

Робким говором, взглядами, прошение выпрашивающими, помешал Семен Раисе.
Думала о камне, растущем в душе ее.

Тот день принес и еще одну весть. Поздно, когда собрались уже расходиться, стало
известно в доме на Торговой, что арестован Василий Васильич Горюнов, старичок милый.
Выследила полиция двух не то скопцов, не то штундистов, с каторги бежавших. Захватила их
полиция у начетчика на квартире. Там каторжные с Васильем Васильевичем чай распивали.
Там всех четырех и захватили, в острог повели.

Приняв весть ту, мало обсуждали ее в доме железного старика. Не все и видали-то Васи-
лия Васильича. Но беседуя и прощаясь друг с другом, поглядывали косым взглядом на Раису;
кто злорадно, а кто так, любопытствуя.

«Как-никак, а через тебя, голубушка, он и нам родственничек. Пока нищенствовал, ста-
рье продавал балчужное, Бог с тобой, хотя все же зазорно. Ну а этак и вовсе неладно. Скопцы...
Штунда... Знаем мы. Тут политикой пахнет...»

Но, любуясь новорожденною гордостью своей, не потупляла взоров своих Раиса.

XXXV

Из пещеры зачарованных снов выбился ключ на где-то там лежащие переулки жизни.

Женится Семен на Настасье Бирюлиной, на генеральской дочке.

Дом на Московской двухэтажный, кирпичный, барский, уже полгода в руках наследников
железного старика. Князю-помещику деньги нужны были. Семен с Агафангелом от далекого
имения отказались, сказали:

– У вас дом на Московской. И под залог дома дали.

Срок прошел. Агафангел за невзнос к недвижимостям фирмы причислил.

– А мы его, домик-то княжеский, на ваше, Семен Яковлевич, имечко от братьев откупим.
Вам оно, Семен Яковлевич, и ко времени.

Никого не спрашивали. Доверенность. Только Макар, ежемесячную роспись проглядывая, кулаком в стол ударил:

– Хорош дом! Хорош, черт возьми. Без страховки сколько лет живет. Ну, пусть Семенов будет. Семену можно... Ха-ха! Ну и цена...

Семен Агафангелу говорил:

– Да не будет ли чего?

– Все по закону-с.

В те дни впервые над домом железного старика тяжелые птицы кричали:

– Ростовщик!

Семен не слышал. То были птицы, рожденные помыслами чужих людей, Семену не интересных. И в стенах дома, строенных отцом на вечные времена, иные духи нашептывали ему иные сны.

А в княжеском доме на Московской, в доме, где столичные люди отвыкли жить, паркетчики и обойщики песенными тонкими голосами расшугивали по подвалам и чердакам стародомовых, добрых и злых.

И на глупых людей сетуя, но на будущее всегда надеясь, стеснились духи, в кучи сбились.

Сговор был. Обручение. Скоро уж, совсем скоро.

И в болезненном поту пробуждается бессчетно Семен ночной, сквозь лампадную мглу силится удержать очами расплывающийся облик ночного старичка.

А слова его, милого, неизменно тающего, бьют, как молоты бьют Семенову голову, болящую и вот недавно наполовину облысевшую.

– Да. Да. Отойду от зла и сотворю благо. В монастырь уйду.

Но ночные чары не каменные. Доримедонт храпит, огонек лампадный с букетами на обоях играет, песенки им поет. И мгновенно вспоминает Семен, вспоминает Настасью, вспоминает свадьбу свою. И стыд клонит на влажную подушку в жестокую дрему Семенову голову. Стыд слабости тела жениховского и стыд слабости духа. И кружит дрема. И на спасительные мгновения новая бесконцовая сказка.

– Женюсь на Анастасии, в Господа Бога женюсь, не плотски. Она поймет, она, милая, тоже того хочет.

И дремотно мечется, и шепчет свято-книжные слова.

– Если возлюбим Бога, исполним заповеди его и сохраним девство, удостоимся райского блаженства... И я ей так в брачной комнате скажу, как сказал Иулиан мученик Василисе, нареченной своей... И ответит Анастасия: «Что же дороже вечного спасения!» И в брачную ночь, там, на Московской, показана нам будет с небес книга девственников, и в ней прочитаем имена свои. Анастасия! Анастасия, в Боге невеста моя...

Захохотал храп Доримедонта, захохотал, запрыгал по ухабам нелепого сна.

– Ура! Ура! Везут...

– Нет. Не согласится генеральская дочь, в Боге не возрадуется.

А через минуту думать про то, про сонное, стыдно. И дрожащая рука воровски выдвигает скрипучий ящик столика. За той, рецептом обернутой коробочкой, Семен жених в Москву на сутки ездил.

И от стыдов своих – не знает – в сон ли уйти, в бодрствование ли. Вот, убегая, еще на стыд свой натолкнулся в ночи. Дарья. Та, Ирининых, теперь Борк. Уж с полгода! Стыд! Стыд! Тогда жениху на дверь указала, потом своего молодого супруга, гусара Борка, к нему же за деньгами посылала. О, стыдно-гнусные дни. Мольбы неумелого франта, полувынужденные Семеновым молчанием прозрачные словечки-намекы, и он, он, Семен, мыслью за гнусность тогда ухватившийся и в коленкоровый конверт дрожащими руками совавший ночью деньги из железного конторского шкафа.

На утро тогда, как нашкодивший семилеток:

– Позабыл сказать с вечера, Агафангел Иваныч. Платеж тут... То есть мой личный... Спешный...

Крякнул Агафангел, лицо отворотил. Понял тогда Семен: не денег старику жалко, а глупого лица да глупых слов главы фирмы.

А те тотчас за границу уехали.

«А ты обожди. Вернется, опять Борка-гусара пошлет. Успеешь еще. И договориться обо всем по пунктам можно. Помнишь, тогда говорила: денежный мешок. Так уж ты, денежный мешок, так дела веди, чтоб не обманывали тебя прощелыги гусары столичные».

Это теперь Семен сам себе.

«Бабник! Бабник! Эх, подумаешь, страшен ты гусару. Только вот не знает разве».

И крутится кошмарный хоровод снов, пробуждений и дремно-жутких засыпаний в лампадной мгле давно-давно родной комнаты.

«Раиса. Раиса, милая, тихая, тебя одну люблю... Зачем за брата вышла? Со мной бы тебе...»

Задремавшую мысль встряхивал храп-бормотанье иного сновидца, Доримедонта.

«Дарья! Дарьюшка, к чему обидела? Счастье тебя со мной ожидало».

Кружатся, кружатся сонные минуты, большими кругами догоняют жутко-бледные тени пробуждения.

«Отойди от зла. Сотвори благо».

В сонно-неясное глядит упорно лампадно-ризный свет.

«Где ты? Где ты? Кто ты? Кто?»

Старик отходит, а те, незабываемые, позади стоят, за сны прячутся...

А днем в комнате радостное забвение, то золотой обман, то золотая правда. А после до вечера любовь к Настасье невесте, любовь еще дневная, лунно-лампадных слов и снов не боящаяся. И любит Семен Настасью безграничную любовью сиротливого сердца. И в той любви – любовь к ней, генеральской дочке, любовь-скорбь-обида – Дарья и любовь-тихость, любовь-блаженство несказанное и невозможное – Раиса, братнина жена.

В княжеском доме на Московской весело-визгливо песни поют рабочие люди. В генеральском доме поблизости, на Московской же, Настасья невеста перед зеркалами романсы французские напевает, модисток бранит и торопит. По ночам из комнаты ее вдруг хохот неудержный вырвется. То письма невеста подруге Даше за границу пишет, общего жениха-купца высмеивает; французскими веселыми фразами жизнь свою грядущую развеселую разгадывает.

А невестин отец, Бирюлин генерал, в клубе за золотой стол пересел. И бас его хохочуще-рыкающий глубже, и живот его подмундирный будто еще обширнее стал.

Из пещеры зачарованных снов под каменным домом отошедшего железного старика выбился ключ на грязные переулки жизни; выбился, испуганно звеня.

И ждали. И настал день. И сказали:

– Сегодня.

И мучительно быстро, грязными камнями разочарования и тоски бия в сердце и в голову, пролетели часы сегодня.

И страшно дергалось лицо Семена, когда душа его, глядя через кругло-неподвижные ночные глаза, то шептала, то кричала отчаянием:

– Вчера! Вчера!

И не было с детства привычных лампадно-тихих стен для круглых ночных слезящихся глаз.

XXXVI

Тихи женские слезы. В каждом доме города и деревни плачут. И за чертою жизни городской и деревенской, по кельям скитов и монастырей еженощно плачут. Всевидящего дьявола тешат те плачи. Но тихость плачей тех огорчает его. И возликует безмерно, и хохотом-громом расколет небо, когда из тайников разноликих вырвутся плачи те кроваво-открытыми стенами во вселенскую явь. Но тихи женские слезы.

От Анны из Петербурга к матери-вдове письмо пришло. И заплакала старуха на час, лишь страницу письма прочитав через очки молитвенниковые. А в строках тех нечаянная радость. Давно уж вдова железного старика, жизнью перепуганная, плачет, задыхаясь и стеная при всякой вести, чуть не похожей на повсечасную скуку запертых комнат. Макар, смеясь, рассказывал, как мерзлым снегом из-под копыта – в санках мчался – ему шляпу с головы сбило. Плакала. Насмерть сына зашибить могло. Протопоп Лев вазочку с малиновым вареньем за ее столом дрожащей рукою опрокинул. Плакала. В театр дочь Любовь повезла. Из ложи глядя на неподнятый еще занавес, разрыдалась. И часто-часто плакала перепуганная старухой-жизнью.

Сообщала Анна Шебаршина радостную весть: сына-первенца родила. Слава Богу, здоров, жить будет. В честь деда Яковом нарекают, бабуку восприемницею заочной просят быть. У дочки сынок. Радость-то какая. Сколько ждали. У Любви и совсем не будет. Бесплодна Любовь – старшая дочь железного старика. У Анны, тоже здоровой на вид, болезни женские постоянные. Сколько раз тщетно ожидали. Но вот, наконец. Выплакалась, прибежавшую Феню выпроводила и дальше по письму очки повела. А дальше уж по-иному нечаянное. Сто тысяч рублей спешно выслать Анна просит: дела мужа – лучше не надо, но кратковременная в свободных деньгах недостача. И опять, заслышав столь знакомые всхлипывания, прибежала Феня к барыне в спальню лампадно-душную.

И долго-долго в плаче билась и, задыхаясь, за сердце хваталась. Забегали. За Люстихом послали. Семену сказали. Внизу, в конторе, тому быть случилось. Вошел тихий. Глаза пылливо-испуганные на дергающемся лице. Над матерью постоял, поверх лица ее в стену долго смотрел: задумался. Головой вдруг дернул, огляделся, стакан с водой взял и обратно поставил. Письмо увидал. Взял, к окошку пошел, читает. До денежного дела дочитал – лицо разумновдумчиво стало. Не дергается.

– А! Вот уж как там...

Кое-что слышал Семен про Шебаршина.

Письмо положил точно туда, откуда взял. С входящим Люстихом чинно поздоровался, в контору идет.

– Агафангелу Ивановичу сказать... Да и Макару придется.

И отдыхало лицо Семенове, хохочущим над горестями дьяволом повсечасно дергаемое.

Запах лавровишневой воды и ласково-властные слова Генриха Генриховича скоро разбудили в дальние углы запрятавшуюся милую повседневность, напуганную питерскими вестями. И, улыбаясь, стала рыхлая старуха тихими словами радоваться рождению внука. И слушал Генрих Генрихович и кивал красным лицом и изредка говорил лениво:

– Да.

И пил херес.

А к ночи того дня Любовь, неплодная старшая дочь железного старика, рыдала не утешающими горя слезами зависти. И не хотела видеть людей. И за запертой дверью караулила тихо плачущую бездумная тишина недавно отстроенного дома, небольшого и, как королевская игрушка, изящного. А за стенами, суровыми взглядами отгоняя шум городской, стоял-молчал-караулил трехдесятилетний сад.

Дом Любви в полуверсте от Макарова дворца. Садом к откосу над Волгой. Несколько недель в начале сестриной стройки в неведении злился Макар. Встретив в клубе неведомого строителя, волком глянул. Но, разузнав, догадался к сестре заехать в час ее беседы с архитектором. Мельком, как бы не интересуясь, на чертежи взглянул. Веселый, успокоенный уехал.

– Неплохая избушка будет. Даже на каменном фундаменте.

Плачет неплодная Любовь в молчащей скуке менее нелюбимой комнаты нового дома своей бессемейной жизни.

Ночь уже. От лица платочек отстранила. Запахи нежные милых цветов ловит. Повсюду в вазах, в кувшинах саксонского фарфора и екатерининского легкие грезы-сны тяжелой земли ароматы тайн своих выдыхают. И к цветам ваз расписных, к ароматным застывшим дымам раззолоченных жертвенников, подходит неплодная Любовь. И вот улыбкою тихою радуется. Раздумчиво переходит, лицо недавних слез в тайну склоняет. Из затихшего в женской груди горя песня – не песня, слова – не слова, грезы предсонные далекого полуразбуженного девства. И к стене подошла, за сонетку, по бархату расшитую, потянула.

Строитель дома любил старину и много в доме старины воссоздал. И полуосознанно любит то ныне тонущая в тихом горе своем неплодная старшая дочь железного старика.

– Тебе чего, Люба?

Брыкалов, супруг, к запертой двери подошел.

– Тебе нездоровится?

– Нет, нет. Франц Иваныча ко мне.

– Сейчас.

Не стуча отошел, рыжие усы с подусниками левой рукой разглаживает.

– Гиацинтки миленькие... А ты чего, кактус злой, не цветешь... В столовую роз, роз, роз... Темных-темных... Везде-везде... Под дубовым потолком у дубовых стен. Или черных, совсем черных... Пусть пахучих достанет. Те черные наши, как мертвые... Голландских тюльпанов на лестницу.

Недолго ждала. Постучался.

– Франц Иваныч, прейскуранты с вами?

– О, ja!

И долго ночной разговор с седым немцем, садоводом-мастером. Опять к сонетке. Ночному лакею на столик грушевого дерева указала. Ночной, глазами любимый юноша с чуть видными усиками, во фраке, с лицом весело неспящим, нитяными белыми руками кукольными поднос серебряный с бутылкой шампанского вина несет. Только это вино пьет Любовь. По ночам.

За это ночное потребовал немец-садовод лишнюю тысячу рублей в год. И честно исполняет обязанности. И подчас сам вдохновляется планами госпожи. Сад велик. Дом цветами не полон. И строится третья оранжерея. И иногда, ничего, кроме послеобеденного пива, не пьющий, немец опьянялся, как она, своим ночным.

Мильон. И уже привыкший Брыкалов, не ворочаясь, спит на широкой кровати красного дерева с бронзовыми колонками. Подчас же во сне вступает в борьбу с рыжими толстыми усами.

Крепче спать. Утром вставать, в магазин ехать.

И утрenne одеваясь, ласково отвечает жене, снимающей одежды, отходящей в теплый сон после вино-цветочного праздника.

И мудро-выцветшие гобелены не тревожат сна счастливо-несчастной женщины.

Старшая дочь железного старика, ныне Брыкалова, увидев возможность лишь маленького-маленького счастья, отошла от него, от Христа ради дающего себя и ничего в грядущем не сулящего.

А цветы? А разговоры о них, еще и еще новым загадочно пахнущих? А жуткий сон дома, цветами населенного, когда она не спит? А воинства новых и новых цветов, вот завтра должны прийти.

И под потолком, в кедровых ромбах являющим розово-выцветавший шелк, спала от раннего утра до поздних часов дня забывающая о неплотности своем Любовь.

Тихи слезы женских мечтаний о невозможном. О неясном, о нездешнем сладки мечтания милых женщин.

Отходит в сны нового дома своего, так построенного, будто вторую сотню годов жить начал гобеленами своими, кедром, орехом, бронзой гордой, фарфором милым. В сны отходит, не знает, что сны ей подарят. Не знает, что под заботливыми занавесями пробудившись, вспомнит радостно нынешний сон свой. И веселая встанет и скажет догорающему дню:

– Конечно, конечно, Корнута от матери возьму. Пусть Корнут у меня живет. Хотя и не так уж мал, но все же ребенок. Пусть младший брат вместо сына будет. Учителей возьму... За границу повезу. Горб ему там вправят...

Недалеко на горе, на откосе, во дворце своем и Макаровой, под холодным потолком высоким, у стены мраморной, в дубовом саркофаге лежа, пережила Раиса последнюю ночь скорби невозможных ожиданий, оттуда, из ранне-далекого вызванных. Вызванных, чтоб вот здесь засиять. Напоследок? Новою гордостью не хочет, погибшими девичьими снами не хочет, купечески старомодною складкою не хочет Раиса, Макарова жена, мириться вот с этим новым. Вторую неделю почти сплошь все ночи Макаров саркофаг дубовый здесь, рядом, пустоту свою Раисе нагло являет.

И из утренней спокойной холодности супруга, и из дневных громогласных повествований перебиваемых воспоминаниями арий балаганных, знает Раиса, что ночами Макар до свету в «Белом Медведе». И не обычно бесцельны те пребывания. Про прелести Зандушки, цыганки-хористки, и лакеи Макарова дворца из обеденных громких восторгов немало знают.

И вечерами откровенно снаряжается, заготовленных сафьянных футлярчиков не прячет, бумажками радужными шуршит, в конвертик бумажку заклеивает. Из прихожей в шляпе, в пальто еще раз два выбежит: что-нибудь вспомнит деловое; если тот-то утром придет, задержат... И замурлычет-запоет:

Где мой милый пропадает?..
Ан твой милый вон идет...

Хлопнет дверь далекая. Одна Раиса под потолками расписными, под холодно-молчаливыми. И к веселой откровенности той, к невраждебному охлаждению мужа, к песенкам веселым и футлярчикам нет ключа, ни отмычки у Раисиной оскорбленной души.

И последнюю ночь слезами недоуменными проплакала в дубовом саркофаге в морозно-теплом склепе. Есть места, где невозможно воскресение. Но нет склепов, ни темных-подземных, ни светло-веселых, где нельзя было бы решиться на большое ли, на малое ли.

По-королевски презрительно гордо на лучи нового дня сощурились близорукие глаза Раисы, и явно не страшась взглядов слуг, прошла наверх, к детям. И не хотело лицо ее ни плакать, ни растерянно улыбаться. И не было лицо Раисы похоже на лицо ее матери, в то утро с растрепанными космами седыми, со стучащими челюстями запершейся в мезонине домика своего, под сенью близкой колокольни Егория.

Дико страшен запой Михайлы Филиппыча Горюнова. Громадное сильное тело старика вторую неделю вливает в себя водку через небритую пасть. Через розовые белки немых слезящихся глаз глядит сбесившаяся, забывшая Бога душа. Бестолково колотящееся сердце носит старое тело великана-купца, прикрытое растерзанным халатом, по комнаткам дома, честно-

заботливо нажитого. Ноги босые спотыкаются, руки дергающиеся рушат. Мало осмысленных слов выкрикивает небритая пасть. Чаще иного:

– Проклинаю! Проклинаю!

И еще:

– Водки!

Носится устрашающее тело старого купца по темным комнатам. А темны они потому, что днем от сраму окошки завешаны, вечерами ни ламп, ни свечей не засвечают: дом спалит. Лишь от лампадок пред святыми ликами окладными мерцание. Тех не трогает.

– Бог не допустит.

Бьется-колотится бестолковое, доживающее дни свои сердце; вопит-понукает сбесившаяся, потерявшая Бога душа; гоняет греховой скверны преисполненное бренное жилище свое все вокруг да около, по черепкам посуды, через поваленные стулья, мимо неприступных изразцовых твердынь. Внезапно замрет кровью и спиртом донятое сердце и ночью ли, днем ли на много часов валит в недвижность старую громаду. На диван ли, на кровать ли, на пол ли.

– Пусть привыкает лежать.

Хохочет душа сбесившаяся. Дьяволу делу рада.

Утро нового дня – которого это уже? – и счет потеряли – безучастным солнышком волжским глядит на растерзанную бормочущую, то задремывающую, то кричаще-пробуждающуюся старуху-хозяйку разваливающегося купеческого дома под сенью загудевшей третьим звоном белой башни Егория.

Возле постели дочери Пелагеи в кресле удобном, исстари проваленном, дремлет – не дремлет, крестится, прислушивается.

А догрызающая Пелагею чахотка на долгие часы не дает монашествующей юной душе замаливать грехи заблудшихся на перепутанных отцом зла и скверны путях жизни человеческой.

Но не пора ликовать ему без меры. Тихи женские слезы.

Дети-малые, последыши стариков Горюновых, на весь дом кричат, Сереженька и Дорофеюшка. Нянька, непорядкам в доме радуясь, к соседкам убегает. Не живут подолгу прислужницы в доме том, в распадающемся.

Колокольчик медный по дому песню минутную упорно-испуганную завел.

У щелей оконных занавесок лица женские заматались. Стоном рыдающим, отчаяние таящим, шепоты по дому птицами одна за другою гоняющимися залетали:

– Раиса!.. Раиса!..

– Раиса Михайловна!.. В коляске парой...

Громыханием притворно испортившегося замка не мало минут украли.

Не снимая ни шляпы, ни кофточка, Раиса в наспех прибранной трехоконной зале сказала:

– Я на минутку. Прокатиться поехала.

Щурила глаза свои мимо слишком явных следов домашней тайны, лицо ее не являло и малой доли того испуга пред возможной бурей со всеми ее неизгладимыми последствиями, который желтой прыгающей волной раскатился по пухлому лицу ее матери, вздрагивающе поглядывавшей на дверь.

И лишь рыкающим, безмерно злым шепотом, здесь не слышным, отвечал, в залитую подушку уткнувшись, на короткий срок полуочнувшийся старик-отец.

И спрашивал Раисин уверенно-громкий голос. И не ждал ответов:

– А папашенька все еще болен? Не забудьте папашеньке передать, – и голос Раисин чрезстенно громок, – не забудьте передать, что сегодня я окончательно переговорю с Семеном Яковлевичем о папашенькиных делах... Нет! Чего же. Сейчас не беспокойте. Он у нас сегодня ужинает с женой. Если надо что, до вечера папашенька прислать успеет нужные бумаги... К Пелагеюшке не зайдю. Не лучше? Бог мой! Бог мой! Уговорите. Попытайтесь. Генрих Ген-

рихович говорит: ничего, говорит, здесь поделать нельзя. Расходы мои, не беспокойтесь. Да и не велики. А Генриха Генриховича завтра пришлю... Так не забудьте папашеньке-то...

И к прихожей идя, два раза останавливалась, оборачиваясь, сквозь перепуганное лицо матери на запретную дверь глядела, в силе своей уверенная.

Дверь уже на лесенку перед Раисой распахнута засаленной девкой. Раиса напоследок к матери оборотилась. Громким голосом ей быстро:

– Новость не знаете, мамашенька? Степана Степаныча Ньюнина супруга Ольга Ивановна в сумасшедший дом в Москву везет. Знаете ведь, пил он последнее время безобразно.

А через минуту, в меру на сафьянных подушках развалясь, не слыша воя вырвавшегося отца, ехала, мерно покачиваемая под перебойный треск восьми подков, и в меру лениво поглядывала на встречающих, не забывая чуть кивнуть снимающим шляпы.

В то солнечное утро была, как королева города того, Горюнова Михайлы Филиппыча дочь, безмерно богатая и нищая, гордо-счастливая и терзаемая, мать нелюбимых мужем детей, своим отцом проклятая. Но решившаяся.

Королева едет. В коляске черной, светлым сафьяном снутри обитой, нет места ни слезам, ни следам их, ни подозрениям о тех и других.

Пусть лишь ликованием лицемерия радуются горожане, если хотят чему либо радоваться.

Отцу зла житейского нечего делать на запятках королевичной коляски.

XXXVII

Идет-пробирается Доримедонт слепыми улочками города, от знакомых людей подальше. Более полугодом не выходил далее двора дома на Торговой. Не к чему было, да и некогда: то да се. От утра до обеда не увидишь, как время пройдет. А там – чуть о чем успеешь задуматься покрепче, глядь: смерклось. Не по ночам же гулять. Спать-то когда?

Оглядываясь и вздрагивая, идет Доримедонт, пробирается; вечерний пригород пугает его.

– Барин, пожалте! Докачу ваше степенство!

Рукой замахал. Отвернулся, побледнев.

– На всю землю колесищами грохочет, окаянник.

Идет-бредет, от далекого прохожего отворачивается, фонарных столбов пузатых пугается, на дальний звон разноколокольный быстро-быстро крестится. Но вот, в минуту полной уверенности одиночества, вытащил зеркальце круглое, свой лик оглядывает. И тогда гордо улыбающийся рыцарь в очи ему глядит соколом, шляпу снимает.

– Иду, – шепчет, – на великое дело. И никому, – шепчет, – до поры знать про то дело не след. Ну а пора придет...

Страшно было Доримедонту сидеть у цирюльника.

– Леший его знает, что у него, у канальи, на уме. Уж больно остро глядит, и все-то выпрашивает... Нашел дурака! Видал?

Страшно было до поту. Но зато, если бы и не влюбилась раньше, теперь бы не устояла.

– А-а-а!

Из-за угла мешаночка-молодуха смазливая бойкой поступью выкатилась, зевающий рот накрещивает.

– А-а-а!

– Силы честные, пронесите...

Закрестился Доримедонт, задрожал, молодуху напугал лицом скосившимся. Долго толклись друг перед другом на гнилых мостках. Еле разминулись. На уроненное зеркальце страшитесь оглянуться Доримедонт: а вдруг раскололось! А так упало, будто пропало. Это ничего.

– Ну его совсем! И не жалко ничуть...

Не близко еще идти. Но под рукой веселье несказанное. Счастье. Восторг души. Полсуток до одури упивался. Ах, кабы не улицы эти пугающие, без конца кем-то зря настроенные.

Из кармана конверт, за день состарившийся, рука вытянула. Бумагой рука влюбленно поигрывает; глаза рыцаря улицу вечернюю следят из-под шлема пытливо. Не нужно рыцарю письмо глазами читать. Наизусть шепотком напевным читает, гордость свою, силу свою из сказок, из снов в жизнь чудесно перелетевшими словами тешит.

«Благородный рыцарь! Вами болит и страдает несчастная душа девицы. Будучи наслышана о несказанных добродетелях души Вашей, лыщусь неоставлением благосклонностию от любви к вам погибающей честной девицы, имя коей и прочая можете узнать, красавец мой, на Новой Стройке, дом Никулиной, ныне же, с десяти часов вечера. Пребываю по Вас сохнувшая и Вас непременно к назначенному часу ожидающая...

P.S. Не забудьте захватить, любовь моя, побольше денег. Мне ни копейки не нужно. Но если Вам захочется меня похитить. Не дайте в обиду неопытную. Навеки Ваша...

Еще P. S. Зажгу над дверью фонарь. Примета Вам будет, сокровище мое. До гроба Ваша...»

Замечтался. Ночь обступила рыцаря, фонарями желтыми поглядывает, повизгивает песьей брехотней. На шлеме стальном, головою рыцаря несомом, страусовы перья выросли. Выются красные. Нет, одно черное.

«Пусть знает, что мститель идет, в обиду не даст. А одно перо пусть белое. Невинность. Как она невинен рыцарь».

И теша себя из сказки, из сна выпрыгнувшей явью неждешнею, идет-торопится. И уж почти не страшен Доримедонту будочник сонный. Одно томит его: «Не мало ли денег несусь?»

А достал Доримедонт сто пять рублей. Пришел к Агафангелу.

– Дайте мне много тысяч.

– Сколько?

И ничего не дали Доримедонту в конторе, второму сыну железного старика. Сто у матери выпросил, пять своих было. Да рублей на десять медью. Долго думал. Не взял. Обокрадут.

– Новая Стройка. Не тот ли вон дом? Ишь куда спряталась. Откуда в нашем городе принцессе быть? А не иначе – принцесса. Какое письмо написала! Какое письмо! Неизвестные все подписывают. Ха. А она знак вопросительный трижды повторяет. Не по-книжному.

– Благородный рыцарь... О несказанных добродетелях души Вашей... Откуда узнала? Откуда? Ах, фонарь... И вон там еще фонарь.

Но стучать, спрашивать нельзя. Крадучись, над воротами в отблесках сонного фонаря читает:

– Никулиной.

Как же так? Шел и сразу пришел. Страшно.

И быть так не может. Принцесса не малая, коли мне письмо написала. Не семишник, капитал ей несусь. Законным браком в иных, царе-градских землях. А коли нужно будет – и еще денег выпишем.

Предел положила раздумью Доримедонта настезь распахнувшаяся дверь пред лицом его. А отворившего не видать. И речей ничьих не слышать. Сладостно чарующую робость, преодолев, за порог шагнул. Чудеса. На верхней ступеньке крутой-прекрутой лестницы деревянной в белом, волосы распущены, со свечою в шандале медном высоком царь-девица недвижимо безмолвная стоит. А у двери, здесь внизу, никого. Кто открыл-распахнул? Нельзя рыцарю, царь-девицу из беды смертной вызволяющему, душой богатырской страху-ужасу поддаваться. Да никто не увидит бледности дрожащей под забралом поднятым. И пошел наверх, гордостью новопредставшей жизни обуянный, но полуживой, наверх пошел по ступеням скрипучим, как на гору, избранно-отмеченным лишь доступную.

Вот лицо красоты невозможной пред очами. Вот слова некие голоса певучего. Слова чрез рыцаря околдованного прошли-пролетели, смысла своего не оставив. За нею пошел, за ведущей, тьму молчащую свечой озаряющей. Рука рыцаря храброго огнем горит. Или царь-девицыну ручку рукой своей пожал-осмелился? И шли, кажись, в молчании. И в покой пришли в разубранный. Свеча вторая на столе, на скатерти, красным да зеленым шитой, в шандале, старательно кирпичом натертом. Кровать большая у той стены. Белым вся сверкающая. Прошивочки на наволочках. А на самой на верхней, на маленькой, бант розовый. На окошечке терема кисея. И не видать, скрывает ли кисея та плотная железную решетку теремную, злым стариком-колдуном на девичье горе ставленную. Обои в букетах в розовых по желтому полю. Красота-то...

– Здравствуйте, Доримедонт Яковлевич...

За спиной голос. А царь-девица тут пред очами стоит-молчит. Испуганно обернулся. Еще девица, и тоже красоты неописанной, разве лишь малость похуже.

– Это подруга моя, – царь-девица молвила. – Самоварчик, Олечка. И всего там... Присядьте же, Доримедонт Яковлевич, гостик дорогой.

Глаз-на-глаз с царь-девицей рыцарь вдвоем сидели. Песня-музыка слов рыцаря чаровала. Царь-девица благодарила, что пришел – не побрезговал, не загордился. Про горе горькое свое загадки неразгаданные слезами, в белой груди кипящими, пела.

И подруга царь-девицына приходила тихо, на стол для пира полночного разное ставила. Слово скажет певучее и уйдет. Приходила, уходила. Вот на скатерти зелено-красной места нет. Села подруга царь-девицы по левую руку гостя ночного молчаливого. А сама царь-девица по правую. Все по чину по-сказочному. Угощение в терему идет. Наливочки сладенькие, в рюмках под шепот двух свечей разноликими яркостями улыбающиеся, пряники поливные, в бумажках махровых конфетки, и чай, и разное.

И пьет рыцарь сладкое да крепкое, чуду, в жизнь его из сказок спустившемуся, дивится. Слушает речи-загадки, ни слова сказать не может. Да и не спрашивают. И про него, про рыцаря, немало слов царь-девица говорила.

– Откуда знает? Верно-то все как! И про братьев, про дом. Точно сама мухою малою на Торговую в каменный дом по ночам прилетала, высматривала.

Угощают рыцаря. Рука белая справа нальет. Рука белая слева нальет. Уж не кружится ли голова? Ну, да то не от сладкого вина. Так ли еще рыцари пивали!

Пир горой. Будто музыка гусельная да псалтырная послышалась. Видит рыцарь: царь-девица подруге глазом мигнула, головкой кивнула. Встала покорно подруга, к двери безропотно идет. Вышла, словом не поперечив.

– Навряд подруга! Не обманешь. У царь-девицы под началом. Верно из заморских стран в полон взята.

Сон ли, явь ли? Ну, да в эту ночь всякое возможно. Руками белыми царь-девица, королевская дочь, тайным горем сжигаемая, шею его обвила; целует-милует его, рыцаря простого, не королевского роду.

– Или уж так полюбился тебе, царь-девица, лебедь белая, королевская дочь? А уж ты как любя мне.

Сказал ли? Помыслил ли?

И слезы горячие текли, и речь жалобно-ласковая девичья по терему порхала, за стенами музыка гусельная да псалтырная плакала. Слова царь-девицыны карликами злыми по потолку вверх ногами забегали, в терем волна морская хлынула, соленая-пресоленая. В рот, в нос, в очи бьет-хлещет волна морская. Пропал рыцарь, силами замка колдовского загубленный. На пол мертвый пал. Нет рыцаря храброго. В песнях, в сказках лишь под гусельный звон про него вспоминать станут на долгие века.

И полетели годы, века полетели над лежащим в мертвом сне. Замки рушились и под облака возводились, битвы кровавые велись, Змей Горыныч старый-престарый стал и уж такой-то злой стал, лютый. Царь-девица не старится, пробуждение рыцаря верного, на века вековечные полюбленного ожидает.

Карлики ли усмиренные воды живой раздобыли? Очнулся рыцарь от сна векового. В постели белой, на той на кровати на высокой раздетый лежит. Диво дивное! Или они повенчаны уж? Царь-девица рядом. И в очи засматривает, и руками белыми милует.

Закружилось, заплесало. Часы красные в терему текут.

Что? Что? За что? Мука нездешняя, невозможная. Ласки сатанинские.

– Ведьма! Ведьма!

Поздно! Огонь адский по телу рыцаря плененного. Истома предсмертная. Сил хватило еще в теле богатырском. С ложа муки тигром быстрым спрыгнул. Шатаясь, озирается, одежду свою, ведьмою за годы сна его снятую, видит.

– Бежать! Бежать!

Спешит-одевается. Одежда рыцарева заколдованная из рук прочь на пол кидается.

Что это? Что это?

– Обороните!

Из двери, скрипяще разверзающейся, лицо Васькино смотрит-ухмыляется.

«Как брат Васька в замок попал? Или всех полонила, замучила? Но рожа Васькина весело так поглядывает. Рот до ушей. Или с ума Ваську ведьма свела?»

– С добрым утром, Доримедоша!

Рыцарь околдованный, ведьмой-красавицей на век погубленный, в одеждах висяще-растерзанных от мест наваждения в дом свой бежал. Ночь, последний час свой доживающая, над городом чуть алела. Бежал, бежал, дрожаще крестьясь и на левую сторону отплеываясь.

XXXVIII

Настасья, генеральская дочь, Семенова жена, по залам Макарова дворца павою ходит, в лорнет плафоны разглядывает. За рояль села. Ударил по клавишам концертного великана, в стиле залы украшенного сатирами, нимфами и цветами.

Макар, свирепо на Настасью гремющую озираясь, перед коннозаводчиком заезжим в пылу разговора прыгая, легко перекрикивает марш. Полузнакомому коннозаводчику, в сторону Настасьи пальцем тыча, насколько мог тихо, но совсем не шепотом сказал:

– Дура махровая! Черт бы ее побрал. Вот ведь, подите! Брат Семен умный человек, а дурак.

Раиса с Семеном тихо беседуют, разделенные, как и там, в счастливом том домике, серебряным самоваром. На Раису взглянуть – словно лишь час с той поры пролетел. Все та же. Но не тот Семен. По худому лицу судороги мучительные зарницами бегают. Две морщины поперек лба упорные, а лоб с облысевшим затылком слился.

Ласкова ныне с Семеном Раиса, душу его нестрадавшую врачует. И много слов хороших сказала, и много в молчания минутные взглядов тихих, взглядов родных бросила. И дремал сладостно успокоенный голубь Семеновой души, про раны свои смертельные забывши, и не думал никак, что можно еще несравненно больше обрадоваться, счастьем невозможным, счастьем небесно-земным засиять. А ведь обрадовала, счастьем неожиданным заставила засиять. Вот тут, сейчас у самовара серебряного, под грохот музыки мучительницы Настасьи.

– Не забыли, Семен Яковлевич, через неделю чудотворную икону принесут. Вышли уж они. Третий день, должно, в пути.

– Как же, знаю. Вчера в конторе говорили. К нам ведь в дом ежегодно заносят. Еще при папаше повелось.

– Так вот, хотела бы я очень не как всегда, за версту от города встретить, а с полпути, до Старых Ключей доехать. Там, у Старых Ключей, монахи и богомолцы на большой привал останавливаются, водосвятие. Туда поехать встретить хочу. С пятнадцати лет мечтаю, и никак каждый год не случается. То то, то это. Раньше отец с матерью, теперь Макар не отпустит одну, да и неловко, а сам со мной тоже ни за что не поедет. Вот, если бы у вас, Семен Яковлевич, усердие было, вдвоем бы поехали. С вами меня он отпустит. А ехать-то как хорошо. Триста верст на лошадях. Накануне бы иконы в Ключи приехать. Там, говорили, гостиница чистая. Отдохнуть с дороги, встретить, службы отстоять; те пойдут – за ними пешком; устали очень – в коляску сели. Право бы... Очень хочется... И вам бы отдохнуть...

И не то вздохнула, не то шепотом добавила:

– ...душою.

Но Семен уж плачем давился. Платок вынул, к лицу прижал, будто внезапно закашлялся. Мыслит разлетающимися по вселенной блаженными думами: «Бог ее надоумил. Бог надоумил».

Прокашлялся. Лицо сияющее, судороги с себя согнавшее, за самовар серебряный склонил. И не бездонно-недвижные уже очи с лица исхудавшего глядят. Непостижно они из адских пропастей новоузнанных мук, где пребывали, горе новое разглядывая, к Раисе милой приблизились.

– С радостью, Раиса Михайловна, дорогая. С радостью я.

Никогда еще дорогою не называл. В мечтах лишь часто. Как часто...

– Сам не раз хотел, да тоже все почему-то... Поедем. Поедем... А Макар, говорите, не хочет? А знаете, Раиса Михайловна, мы ведь и дальше Ключей поспеем, если поскорей выехать. На первый ихний большой привал.

И говорил. И она говорила.

И ангелы тихой в женщину влюбленности в хоровод пошли с ангелами православной церкви, предшествующими чудотворной иконе Божией Матери.

И Макара от коннозаводчика отодрали. Тот, вспотевший с непривычки к Макарову крику и прыганью, блаженно улыбаясь, за вино принялся, а Макар, меж женой и братом у угла стола стоя, сначала не желая в их дело вникать, коннозаводчику освобожденному через стол разные лошадные слова докрикивал, а потом, когда вникнул несколько в проект, безучастно прокричал:

– А мне какое дело! Поезжайте! Я не поеду... Только лошадей вам...

– Я достану.

То быстро Семен.

– Каких ты достанешь! Тут дормез нужен. У меня в каретнике дормеза нет. Да и на кой черт его заводить! Железные дороги теперь. А знай я, что такой случай, завел бы. Отложите на год, вот такой дормез заведу! Заказной. По легкости новый будет, по удобству – как в старину. На год отложите, что вам. Может, и сам поеду. А теперь на вольных срамиться не желаю и вам не советую... Ждать не желаете год – без меня поезжайте. Меня в таратайке извозничьей не увидят. А городской коляски по тем дьяволовым косогорам не дам. Рывины всюду весенние, и дорогу черти разбили до невозможности. Слуга покорный... Нет! подседы красной мазью не всегда можно. У меня Строгий...

Подавился мадерою коннозаводчик. Это к нему Макар подскочил. Начал было Макар ему новопкупку свою выхвалять.

– Ничего, что час поздний, с балкона поглядите...

Но заезжий стал решительно прощаться.

Когда ушел тот, – дурак обыкновенный! – сказал Макар и принялся с хозяйственной улыбкой угощать шампанским вином дуру махровую, Настасью, генеральскую дочь, а супруга ее, несчастного умного дурака, поддразнивать дормезом.

– Не достать тебе в два дня нужного экипажа. А коли бы я ехать решил, не в два, так в четыре бы непременно бы устроил. Маркову в Москву телеграмму за телеграммой. Из чего ни на есть, а дормез бы приличный составили. Ну, да ты этого дела не знаешь.

И радостный слушал Семен под громкий говор-крик брата дыхание навечно возлюбленной Раисы. И у серебряного самовара, здесь, не пугающи были взгляды чуть косящих подлорнетных глаз колдуньи злой, Настасьи.

Семен несчастный от радостных часов отвык. Мнится ему: «Вот пред братом согрешаю».

И от Раисы влюбленно-тихие взоры отвел, на Макара, смешливо с махровой Настасьей беседующего, устремился. Посчастливилось придумать слова.

– Поминки скоро по Федоре, как нам их налаживать? Парадно ли, так ли? Тебя хочу спросить, Макар. Агафангел Иваныч говорит...

– К черту Агафангела! А про Федора кстати напомнил. Верка эта из ума все дни не шла, Тараканова.

– Ныне не Тараканова уж...

– А? Что? А? Как? И ты? Нет! Уж ты-то в это дело не суйся. Здесь святых не требуется. Мы с Михайловым свою теперь линию ведем. Да что Михайлов! Рохля! Я кроме адвоката еще аблакаты найму. У нее, узнавал, нестоющий. Мы ее протаскаем по всем инстанциям лет пяток. Мать, слышно, отступилась: кушать захочет – на двадцать тысяч пойдет, не то что на сто... Сто тысяч! Сто! И кто выдумал! Все ты! Все ты!..

– Не я... Я...

– Ну, Агафангел... Много у вас в конторе смыслят! Кто сто тысяч предлагал ей отступного? А? А? Небось не я... Тараканихе несчастной...

– Макар. Дети у нее.

– Дети! Дети? Дети? Чьи щенки? Чьи щенки?

– Макар. Да его же дети.

– Что? Что? Что?

И забегал вокруг стола, Настасью насмешил, махровую. Смеялась во весь голос, и даже выше голоса своего. Макар на то ногой притопнул; Семен же, некогда несчастный, ныне безмерно счастливый, не хотел о супруге своей мыслить, к самовару серебряному опять придвинулся. Счастье, счастье Семенове здесь.

Очень уж явно насмешливый и презрительный почуял на себе взгляд Настасьин подлорнетный. Ошибка жизни роковая, вот она. А Раиса милая, извечно любимая... Счастье вот завтра подошло, молитвенною тихостью полное. Мало-мало трое суток вдвоем. И милая сердцу рыдающему святыня монастырская осенит.

Настасья – враг, Настасья с душой басурманской лба своего, может, ни разу в жизни не перекрестившая, вот она, им, дураком, выисканная, цепью золотою ко всем дням жизни прикованная.

Слезы, близко угрожающие, в душе тайно кипеть не хотят, не могут. На люди просятся слезы.

Встал. Словно пьяный идет. Вышел без слов. Далекая дверь балконная ударила-зазвела.

Вспокоился Макар. Легко ли? На балкон Сема вышел. Без пальто, без шляпы. Ночь холодна. Здоровье его не железное. Любит Семена Макар деловой любовью и крепкой привычкой. Сам не постигает, что, может, лишь брата Семена – одного из всех людей любит сердцем черствым.

– Сема! Сема! Простудишься.

И бежит туда, в гостиную, и не понимает слов-взглядов той, нежеланной, вступившей в семью из вражеского стана.

XXXIX

Милый май, то крепче летнего греющий, то вдруг на полдня памятью поваленной зимы дышащий, тешит волжских людей. По холодной, синей мутной разливной реке жизнь торговая силы рабочие запрягает, подгоняет свистками, звонами, криками-руганью.

На горе, на много верст в ту пору иные звоны, иные думы. Чтимую икону из места в место несут. Пусть и те души, и вон там живущие, и вон те, далекие, порадуются. На много перегонов большая дорога весенним народом расцвела. Здешние встречают, тамошние провожают, за черным воинством монашествующим идут, почти бегут, всхлипывающими голосами подпевают. Кто с версту пройдет, покрестится на удаляющуюся, ковчегом золотым в весеннем сияющую, вздохнет и к житейским делам суетно возвратится. А кто и сотни верст идет, на много дней душу отрешившуюся лицезрением святыни омывает, повсечасно Заступнице тропарь поет.

И кто крепко решил весною той душу омыть, грех великий замолить или счастье-удачу заслужить, тот от ковчега невдалеке идет, уставшего несущего сменяет, под длинную-длинную вагу, от стопудовой ноши гнущуюся, плечо радостно подставляет, часами идет в ряду блаженных, потом обливающихся рабов Заступницы Усердной, Матери Бога Вышнего.

А кто не только Бога и людей обманывать привык, но и себя, там, далеко, в хвосте идут да едут в разноликих повозках. Там и разговоры мирские, там и квасы и семечки, в сторонке и водочка.

Немалый путь Семен с Раисой в троечном наемном экипаже проехали. В Старые Ключи не опоздали. Вечерело. Три комнаты, за четыре дня заказанные, ожидают. И поесть, чаю попить время есть, и с дороги отдохнуть-выспаться. В шесть утра в Старых Ключах будет Чудотворная. День целый пробудет; по округе недалеко походит; во всех семи церквях службу справят; в церкви Похвалы заночует; в четыре утра в путь. Почти сутки в Ключах. Большой привал. Отдохнуть надо. Не мало к тому сроку не в меру притомившихся.

Наговорился в пути Семен с Раисой, душу от горя повседневного отвел, затих под солнцем весенним среди непривычного, не городского. Будто во всю жизнь мечтанная сказка сбылась. Редко-редко дернется Семеново лицо городской судорогой. Душа у праздника через улыбающиеся глаза Семеновы на зеленое, на позабыто-родное, глядит.

И друг про друга говорили, и про Михаилу Филиппыча порешили так хорошо, по-родственному; и немало тому смеялись, что Семен ничего деревенского не знает, про журавлей колодезных спрашивает:

– Что такое?

И березку от дубка не отличает.

Но все чудеса эти так милы, так родны. Будто жил здесь век; украли-полонили, в город каменный завезли, память заколдовали, второй век, как первый, жить заставили; а душа, увидевши ныне родное, настоящее, все и вспомнила, домой зовет.

И про Макара говорили, про умницу редкостного, про силу неустанную, в нем живущую. И не замечал Семен радостный мороза, в глазах Раисы тогда индевевшего.

Ямщик песни мурлычет, с конями загадочно беседует, господ не боится. Деревья райские придорожные, ветерком встречным подгоняемые, из далеких близкими становятся, здесь вот, рядом молодыми листьями гордую, непосвященным душам невнятную речь шепчут и туда, туда отходят. Небо без скуки, без грязи дымов, без тесноты стен человеческих во все стороны.

И из близка веющее чарование оттуда, из-за холмов несомой святыни, чуть жуткой сердцу городскому, чуть ему здесь, в новом, чужой.

– Возможно ли счастье сие? Ведь ко всему тому, она здесь, рядом. Она, она, Раиса, извечная любовь.

И не томят Семена думы о том, что там, не так уж далеко, золотую цепью с днями жизни его скованная Настасья. И не томят думы о том, что вот ныне дающая блаженство Раиса – жена брата Макара и в Макаров дом возвратится.

Пришло в гости счастье к нищей, к изъязвленной душе. И не спрашивает душа:

– Надолго ли?

Как хороши гостиничные комнатки. А по гостинице деревянной двухэтажной суетня. Много уже комнат занято.

В средней комнате, из трех смежных в средней за самоваром медным Семен с Раисой сидят. Возле разное наставлено; и в погребе привезенное, и здешнее. Новая жуть Семена гложет. Ко сну отойти давно пора. Раным-рано вставать, завтра чтоб поспеть чин-чином встретить за околицей. При лампах в комнатах гостиничных Семенова тихость блаженная сменилась трепещущей жаждой невозможного. Или то от странных слов и взглядов Раисиных, новую, да, да, новую ласкою колеблющих Семеновы небеса, где только что поселились тихо радостные ангелы.

И не спят двое в засыпающей гостинице Старых Ключей, и редкими насильными словами теща черта, друг друга отводят на минуту от понятных взглядовых речей.

«Нет-нет! То не я. То Раиса Михайловна первая... Нет-нет! То я начал, греховодник».

Полевою, лесовою радостью радовалась ночь, паря-летая над Старыми Ключами. Сидели двое под чужою ночью, не расходились по своим комнатам; сидели в средней у стола. Холодный медный самовар давно перестал насвистывать-нашептывать:

– Поздно. Поздно.

Или то все чары Раисины?

Нова ныне Семену Раиса. Чудится ему: Раисина душа раздвоилась! Направо ангел белый стоит, тот, знаемый; налево – откуда? Из него как бы вышедший бес, дюрдейный. И разные думы чрез Семена пролетают. Будто разные голоса кричат:

– Жену законную бессилием своим обижаешь... Девица жена...

– Раиса! Раиса! Ее одну тело грешное восхотело...

– Убьет тебя Макар.

– Убивай, Макар! Вот я.

– Отойди от зла, раб Божий Семен. Отойди от зла и сотвори благо.

Но вот разбудила, как ветвью куста розового ударила по лицу. И колючие шипы, и аромат, аромат невозможный; и любо шипам, в живое тело впивающимся.

– Милый вы какой сегодня, Семен Яковлевич. Хороший. Знаете, больше всех я вас люблю. Близки вы мне. Всегда близки были, а в эту поездку...

Но в невозможном бесовом хороводе кружатся думы-тени Семенова естества. Раису светлую видит и Раису греховную. Невеста духа и невеста плоти здесь ныне. Приобщись! Приобщись! Лишь на нее силен будешь. Лишь ей ты супруг.

И парила-висела волжско-майская ночь, и без думы о том скрыла великую тайну свершившегося.

Праздник праздновали два тела. Но одно из них, разумно-холодное, лишь казалось тому, другому, телом отдающимся в любовь и святыню. А тот, впервые мечты любви превозмогший, изнемогая, ликовал. И черт Раисы ничем не мог убедить Семена в том, что она его не любит. И старался, будучи лукавым и злым, насадить сад сомнений в ней и в нем.

И на завтра не пошли встречать Чудотворную. И без них пелись под небом земною радостью ныне ликующие хвалебно-просительные песни. И только слышали, грехом полные, через отворенные по весеннему светлые окошки:

– К Бо-го-ро-ди-це прилежно ныне при-те-цем...

И в гостинице Старых Ключей был силен Семен.

Впервые. Впервые женские чары не убивали в нем могущего, жившего втайне от него самого и от молодой нелюбимой жены.

Счастливою жизнью жил Семен краткий ли час, вечную ли вечность.

Ко встрече Чудотворной опоздали. К проводам тоже. Утренне плакал Семен и не понимал души Раисы, в Боге жены своей.

К вечеру дня догнали. Убоявшеюся душою слушал Семен монашеское:

– За-ступ-ни-це у-серд-на-я, Ма-ти Го-спо-да Выш-ня-го.

А жена брата спрашивала не раз, притворно-веселясь, о разном. И молчал. Ехали с молчащим ямщиком. Потом шли, к сияющему ковчегу не приближаясь.

XL

Шествует старуха-жизнь по берегу великой реки. Землю морозит, землю оживляет. Людей старит.

Про город тот, над Волгой стоящий, давно-давно святой старец сказал, на камне сюда приплывший:

– Дома каменные. Люди железные. За грехи людей город провалится.

С той поры до той поры, в которую жили-живут почетные граждане, дети железного старика, все те люди, о коих святой говорил, перемерли. И дети их. И порушено много каменных домов. Но многие стоят, чуть переменивши лик свой в веках. Нерушимо стоят и стены, охранявшие древний город. От него, деревянно-русского, ничего не осталось, кроме малой церковки. Новое все. У крепостной стены бульвар. Близ старых деревьев – крепких – молодые чахнут, невзрачные липки.

По стене крепостной, за зубцами противотатарскими, лицо свое и горб свой пряча от людей, гуляет-бродит Корнут-отрок. У старшей сестры в доме живет, у Любви. От учителей бегаёт, всячески сестру, решившую матерью ему быть, огорчает. Горб его жажде свободы его на пользу.

– Большой он. Строгостью с ним нельзя.

Огорчает Корнут свою стареющую в бездетности сестру, почитающую его за сына. Любит из дома убежать. Не знают – куда. А он по древней стене бродит, за крепостными зубцами от бульварных врагов прячется, куртку свою бархатную трет.

Пошел однажды Доримедонт гулять. И не хотел, да пошел. Дома полы красили. Он в сад. В саду садовники да поденщицы дорожки выпалывают, песок насыпают. Некуда от людей уйти. Пуще всех эти поденщицы страшны. Подолы подтыкали, ногами босыми туда-сюда. Не терпит Доримедонт женщин живых. Страх на него нагоняют колдуньи-грабительницы. Помнит Новую Стройку. Куда идти? Думал-думал, стену крепостную вспомнил. Понизу здесь недалеко. Страшно идти. Но дошел.

А! Вот она. Хорошо-то как! Травой камень пророс. Безлюдье. И уж женского пола несуразного здесь никак ожидать нельзя. Успокоенный, засмеялся. Повиделись там на реке струги вражеские. В бойнице притаился.

– Ах, мушкет бы! Либо хоть самострел.

Но сзади там, может, пешие? Быстро, чуткий, оборотился. Кто? Кто?

– Корнут! Корнут! Наважденье!

И бежал. И домой прибежав, наследил по новокрашенным полам всюду.

– А оборотень-то позади меня хохотать, хохотать!..

Няньке, Домне Ефремовне, рассказывал.

Ворчит нянька походя. Без Корнутушки скучно ей, тошно. Не взяла Любовь Яковлевна старую.

– Не к добру... Ах, не к добру это. А не врешь? Ишь, шалый какой. Право, шалый, прости Господи. И чего ты, неприкаянный, по дому бродишь... туда-сюда, туда-сюда.

И палец к носу его подняла, и грозно так:

– Женить тебя, женить давно пора. К тридцати годочкам дело твое подходит... А он ровно пятилеток в солдатики играть, книжки Корнутаушкины дочитывать...

Не дослушал Доримедонт. От страшных про женитьбу слов нянькиных бежал.

Корнут, по стене бродя, злобно-радостно шипит:

– Не придешь, чай, больше на мою стену, обалдуй несуразный. Тоже! И он на стену. Дьякон не тебе чета, а и того намерен вытурить. Один тут быть хочу.

И за зубцами мшистыми прячась, злобно-нерадостно в бульварных бездельников вглядывается.

– Погодите, миленькие. И мой час придет.

И завистью мигающие глаза уставил в сторону Макарова дворца. Глаза голубые, в раннем детстве добрые такие были, в душу просящиеся. Смотрит-впился. Крыша горбатая со шпильками, подъявшими золоченые флюгера, над зеленью деревьев поздне-весеннюю четко видна.

– Ишь! Гроза собирается. Над Егорием-то что!..

Туча злоедающая наплывает. Затаились в ней силы враждебные душам трусливым и душам больным.

– Непременно в ночь Пелагея помрет. Крови, говорят, полведра сегодня...

Не видно домика Горюновского со стены. Но туда Корнут глядит, под тучу злую.

– Старик тоже, говорят, чуть ноги таскает.

И задумался, нахмурившись.

– А я не умру. Ни за что не умру. Много дел сотворю. Прославлю себя. Узнают Корнута. Что Макар! Ну, дом выстроил. Ничего больше не сделает. Недаром первого апреля родился. Только кричать умеет. Хвастун.

И полез в окно башни: ветер капли дождевые сразу бросил от первого удара низкого грома.

Во тьме, дышащей гнилью вековой, твердынями противота-тарскими от бури огражденный, пишет карандашом на обрывке. Цифры, цифры. То высчитывает не впервые уже, как капитал его, в банке и в братнином деле ворочающийся, ко дню совершеннолетия нарастет. Бури не замечает, на тусклый свет лишь, цифры сбивающий, злится. Долго. Вот мысль новая, надолго после бури в башне задержавшаяся. Решил Васькин капитал между братьями поделить; себе четвертую часть откладывает.

– Непременно Васька к тому году помрет. Знаем мы кое-что...

Пролился дождь. Ветер упал. Тучи новые подошли с трех сторон.

Долго тучи не разойдутся. Скучно под тучами весною. А душам робким и душам больным страшно.

Захохотало в круглой башне весело так, раскатисто. То Корнут вспомнил недавнее.

– Ишь ведь ловкачи! Тот на богомолье, эта в лагери... За одну Раису, может, дюжина офицеров... Кто внакладе?

Бормотал в круглой башне, в темной. Осенило: решил матерний капитал поделить на всякий случай на четыре доли.

– Тетя Саша вот еще. Ну, да гроши. И те, поди, по монастырям разойдутся... В Питер опять поскакала. Годовщинка. На могилку.

С предвечернего неба тучи не сходят. Там, на западе, просвет белеет, жуткий. Будто хищный белый лунь громадный притаился, голову нагнул, высматривает.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. МАКАРОВИЧИ

I

Белые гребни по морю зеленому, будто из вечности, из бесконечности к нам на смерть гонимые, к нам, на берегу сущим, рыча мчатся гребни белые, гневливые мчатся.

Коли из бесконечности, к тем вон пределам каменным, коли из вечности безначальной к смерти подобному концу, коли на то осуждены, не станем мы, Божьи кони белые, в зеленые валы ластами упираться, конец свой на краткий час отдалять.

И торопятся, мчатся, гневливо рыча-хохоча. Доскакав, в пыль, в смерть разбиваются.

Смерть, задумчивые песни в веках поющая, Смерть медлительная, Смерть-придумщица прах коней белых соберет, на новое в веках скупающая переделает.

В чужом, в нерусском городе, глядя на белых Божьих коней, на смерть идущих, томится болезнью и тоской девица Надя, шестнадцатилетняя Надежда Макаровна.

Третий уже год не видит она ни родной любимой Волги, там, близ слияния с Окою, ни родных нелюбимых людей.

Надя по зимам здесь на берегу моря, некогда прозванного Морем Заката; некогда, когда на утре дней торговых, бороздили бурную воду корабли первых купцов, проложивших пути до Столбов Мелькартовых и, ужас поборов, и далее, до Свинцовых островов.

По зимам здесь Надя. С первыми днями ранней по здешним местам весны везут ее через Тирольские горы, в разных намеченных местах по неделе и более задерживаясь, в Россию. По родным просторам влечет вагон. В другой пересажат. И дальше. А там на пароходе. А там на лошадях. В оренбургские степи на лето везут Надю. Там, от чужеземной тоски отвыкая, полуродной скукой сучая, кумыс пьет. До осени ранней. А там опять, чахоткой и врачами подгоняемая, спешит туда, к теплой зиме, где пальмы не вянут.

Дважды в год не так уж вдалеке от родного города в вагоне проезжает Надя. Но лишь после первой пальмовой чужебережной зимы в степи везя, завезли на два дня домой. После плакала долго, по ночам из сна кричала. Умолила впредь не завозить. Тогда, тоскливо успокоенная, проезжала за версты мимо, в окно вагонное не глядя. Но не однажды выезжал туда, на нижний плес волжский, чтоб повидаться с племянницей, дядя Сема. Встречи с ним не боялась. Сутки с дядей на пароходе плыла без жути, так памятной в каменеющем сердце, но все же будто рада бывала, когда мокрое от мгновенных слез дядино лицо после прощального в щеку поцелуя чуть виднелось в толпе на той вон пристани. На убегающем белом пароходе в каюту свою шла, тихая, несла тайное кипение неразгаданное, из-под наморщенного лба взоры, вдруг ничего не видящие, туда, в мутно бездонное устремив. В каютке долго подарки дядины перебирала, на золото, на конфетки, на камешки любовалась. И за часы те память жизни недолгой много масок разноликих на Надино лицо надевала. А неизменная спутница Надина, *madame Jolie*, по пароходу металась, в запертую дверь то настойчиво, то умоляюще стучалась, с той стороны забегала, сквозь жалюзи заглянуть тщилась.

– О, mon Dieu! Voila de nouveau¹

Улыбаясь бездумно, текли часы над рекою, души успокаивающей. Выпадал грезами грядущего расшатанный гвоздь железных воспоминаний, вбитый встречей с дядей Семой.

И развозили по Волге величавой пароходы белые, черно-дымящие, ее, юную, по течению; его, по лестнице жизни до черной черты дошедшего, – вверх по реке. И плыла, и забывала, и

¹ Мой Бог! Все снова (*фр.*).

вот улыбочиво растущие горы во взоры приемлет. И плыл и забыть не мог, и седые горем жизни глаза не могли сквозь старые слезы видеть берега гористого, молчаливого.

Но ныне пальмовая, чужебережная зима в начале.

Полная недавней еще скукой ковыльной, тихой, Надя, на желто-знойном песке сидя, привыкает вновь к смертям белых Божьих коней, о те вон камни разбивающихся. И привыкает вновь к иным смертям, к таящимся в разноголосо-кашляющих грудях разноплеменной толпы. И там над ковылем тоже. Но менее страху там. Людей ли меньше? Или проще там? Здесь, в городе лечения, из сотен примелькавшихся желтых людей ежедневно кто-нибудь куда-то проваливается. Где тот англичанин? Пиджак на нем белый как на вешалке болтался. Веселый англичанин. Болтливый. Французские фразы так смешны. Вдруг надолго закашляется, порождает. Где он? Уехал? Со всеми перезнакомился тогда. Хоть бы попрощался. Нет англичанина в белом пиджаке. И никто о нем, о веселом, не спрашивает:

– Где наш милый мистер Браун?

Сразу все спрашивать перестали. Гостиницу его все знают. Никто туда за справкой не идет. Провалился мистер Браун.

И часто здесь так проваливаются. И жутко то Наде каждую осень. И нелепо жутка здесь еще черная фура-ящик, на которую непременно наткнешься, если рано утром или поздно вечером выйдешь на дорогу в горы. Быстрой рысью пары лошадей куда-то торопящийся экипаж, похожий на тот, в котором вино по отелям развозят. Но надписей нет. Но возница не устает бичом над лошадьми хлопать. Но с возницей рядом сидящий *monsieur* в черной шелковой шляпе руки на груди сложил.

На белых на божьих коней разбивающихся глядит страха предвечернего полная Надя. За три года переучила Надя спутницу свою, *madame Jolie*. Робко та ей раз лишь напомнила об опасности вечерней сырости.

Но корабль, на много часов опоздавший, вон он уже. Ход убавил. Хочет мол обогнуть.

С песка встали. В гавань.

Разнолики ожидающие. Как много выгнанных скукой. Тихо подплывает дымящий. На осторожном великане различаемы уже лица, глаза маленьких, нарядных. Люди к людям взорами.

По сходням верным потекли.

Нового страшаясь Надя Витю нигде еще не разглядела. Долго текут. Чужие встречи. Всем чужие чемоданы, сундуки. Туман к ногам пал. *Madame* явно суетится, в упрямые Надины глаза тревожно заглядывает.

Думает Надя: «Дождусь».

Упрямая вглядывается в редющую на сходнях толпу. И вдруг обида ли, страх ли.

– *Allons!*²

Обрадованная тайате едва поспекает. Думает Надя душою вечерне рыдающая: «Там ведь он. Из Марсея письмо с этого дурацкого “Императора” прислал».

Напечатанное на конверте изображение стального «Императора» вспоминается. Вечернее небо красное и там, и здесь страшит.

«Что Витя первым с “Императора” не сбежал? Брат тоже... К черту Витьку!»

Идет упрямо-спешно. Подпрыгивающая походка задыхающейся *madame* тешит злобу. Дрогнула. Чуть не остановилась: «А вдруг не приехал. В Марселе... Да нет же! Конечно...»

– Надя! Надя, стой!

С кормовой палубы «Императора» серой шляпой машет.

Ужели брат? Усики над смеющимся ртом. Синий костюм. Не он и он.

² Пойдем! (*фр.*)

– Bon soir, madame Jolie!³ Да стойте же вы...

Сквозь улыбчивую радость новый страх. В болезнью подкошенной Надиной душе белые женщины дум-мечтаний в пляске хороводной свились. Думала: «Не похож. Страшный. Не нужно бы. Зачем приехал...»

– Какая ты хорошенькая!

– А ты совсем monsieur стал... Усы откуда?..

– Это затем, чтобы всем видно было, что мне девятнадцатый год на исходе. А кикимора твоя ничуть не постарела.

– Тише ты!

– Разве ты ее русскому языку обучила?

Это он шепотом испуганным.

– Да нет... Я так...

– Чего же тогда... Ну! В твой отель. Только, чур, пешком. Ноги бегать хотят. А лицо у тебя смешное. Прическа вот...

– А ты думаешь ты не смешной?

– Ха-ха!

– Рассказывай лучше, как ты из крепости бежал.

– Подкоп! Подкоп! Сразу не расскажешь. Комендант Макар Яковлевич неделю бушевал. Но тамап была подкуплена. Здорово работала. Гимназию кончил. Нервы расшатаны. Отдых необходим. Врачи. А тут сестра кстати за морем. Одно к одному. А ты, однако, совсем здорова. Зря дядя Сема в постные дни по тебе слезы льет.

– А он все по постным дням тоскует?

– А то как же!

– И каждый вечер в крепости?

– С восьми до половины двенадцатого. Ежедневно.

– У самовара?

– У самовара.

– А комендант все ужинать оставляет?

– Еженощный спор в прихожей.

– И сердится?

– Ты, говорит, поужинай, Сема. Я, Макар, не ужинаю теперь. А ты, говорит, поужинай; ведь раньше ужинал. Да я уж отвык. А ты, кричит, опять привыкни; что тебе стоит! Да мне рано вставать. Ну, это дело; только все-таки поужинай.

– И ровно десять минут?

– Ровно. Вынет дядя Сема часы. Ах, уж без двадцати! Шубу запахнет и в карету.

Далекой безбоязненной усмешкой кривятся губы Надины. Рядом с братом по набережной нейтральной страны идя, воспоминанием зловещим ново-спокойно улыбаясь, говорит, дразня себя:

– А по постным дням?

– А по постным великая скорбь самоварная.

Освобождение смеются сестра с братом, по чужеземным, по безопасным камням идя.

Замолкла, смех оборвавши. Вспомнила: «Что сказал он? Ты, говорит, здорова совсем...»

И в стекла цветочных магазинов вглядывается, отражения свои туманные ловит.

«Все они нам здесь: вид у вас здоровый совсем».

И тише пошла, причуиваясь к хрипам затаившейся в живой груди врагине. И издали слыша братнины смеющиеся слова, отвечала редко. И редко спрашивала.

– Скупой? Кто такой?

³ Добрый вечер, мадам Жюли! (фр.)

– Как кто? Дядя Доримедоша, конечно.

– Молебен, говоришь?

– Не молебен, а три молебна отслужили напутственных. И ни с места.

– Да он куда?

– Что ты не слушаешь! Толком говорю: у тети Любы засиделся Скупой. Второй год. Уговор был по году. Ведь при тебе еще. А вот уж второй год на исходе. В оранжерее сидит. Ему по закону в крепости жить теперь. Макар Яковлевич рвет и мечет. Без постоянного шута тяжело. С тетей Любой разругался. Это ты, говорит, его не пускаешь из своей дурацкой оранжереи! Та плачет: не держу я; сны, говорит, он видит. Комендант на Доримедошу напал: долго ли, кричит, мне за тобой карету взад-вперед гонять? Да я, говорит, Макарушка, может, завтра. Опять сон нехорош мне был; нельзя мне в путь; ты уж не гневайся. Ну, говорит, черт с тобой, коли так. Тот, конечно, накрещиваться, отплеиваться. Назавтра опять карета. Опять пустую шубу назад везут. Опять крик в крепости.

– А дядя Доримедоша шубы еще не купил?

– Какое там! Совсем оборванцем ходит. Комендант ему пиджак пополам разодрал со спины. Помнишь, тот рыжий пиджак. Теперь, кричит, поневоле новый купишь. Но дело не выгорело. Зашил. А тетя Люба: как, говорит, ты в моем доме?.. А тот: у тебя, кричит, не дом. Что, говорит, в дому нельзя, то в оранжерее можно. А Корнут...

Но сестра остановилась вдруг, на внезапную мысль наткнувшись:

– Витя! Как тебя одного отпустили? Или не один?

Огляделась даже. Захохотал весело.

– Долго рассказывать. Только я не один. Меня сопровождает добрый дух. А знаешь, где он? Вот здесь, в этом кармане.

От madame Jolie таясь, пачку писем в бумажнике показал.

– На каждую неделю. Из Марселя одно уж послано.

– Да в чем дело?

– В том дело, что спутник мой, мною же тайно ставленный, с границы назад поехал. Уговор. Деньги я ему, положенное ежемесячное вознаграждение, из дорожных вперед выплатил. На билетах, да на гостиничных барыш мой. Оба не внакладе. А мне одному очень хотелось. Письма же о благополучии, о погоде и о прочем, вот они по все дни. Полдня сочиняли по Бэдэкеру.

– Как же такого нашел?

– Давно задумано. Перед выпускными репетитором он у меня. Столковались. С тамап почтителен до чрезвычайности. А тут так подстроили, что занятия наши до обеда и после обеда. И в зале он со всем зверинцем обедает. Перед едой на образ крестится, по постным дням с тамап постное ест и хмельного, конечно, в рот не берет. Когда дело с путешествием наладилось, тамап, конечно, свой голос за него. Тут, кстати, и фамилия уж очень богобоязненная: Мироносицкий. Через ижицу пишется. Это и коменданту понравилось. Смотри-ка как он ижицу придумал выводить. Это он деньги мне. Тебе ведь тоже денежные письма комендант пишет. При сем... Только так устроили, что теперь на мое имя.

Смеялась. Завистливо-сердитыми глазками на тайате свою оглядывалась. Вдруг испуганно:

– Дурачки вы! Ничего не выйдет. А мой крокодил!

Оглянулся Виктор на желтолицую madame. Рот открыл.

– Да-а. Не додумали. Отпишет кикимора. Придется мне в другом отеле остановиться. И отсюда поскорее прочь. Наври ты ей что-нибудь на сегодня. Пусть мой ментор на «Императоре» без задних ног валяется. Укачало.

Шел молча, лоб хмурия.

– Ну, Витя. Вон он, наш отель. Как быть?

– В шляпе дело. Придумал. Ты в котором этаже?

– В третьем.

– Ну а я... Раз, два, три, четыре, пять... Я в шестом, в мансарде. Лопочи с метрдотелем по-французски во весь голос. Надо, мол, два номера рядом в шестом. Один для брата, второй для того, для его духа. Пусть кикимора про два номера слышит. Она, конечно, ко мне наверх ни ногой. И не обедай ты с ней эти дни за табльдотом, ради Создателя.

– Да мы почти всегда в номере.

– И великолепно! Лопочи! Лопочи! У меня прононс плохой. Ужинаем вместе. Не забудь, что у духа морская болезнь. Да! Про Корнута хотел рассказать. Еще два ордена заработал. Важен стал непомерно. Теперь больницу строит. Остальное про зверинец за ужином.

II

Проснулся поздно. Вставать, по городу по новому бежать, не хотелось. Сны вспоминать, в ночные тайны при свете дня нового закрытыми глазами вглядываться так жутко-радостно.

Серебряною музыкой скрипели двери чистилища души; красной молодой кровью наливались веки глаз зашуренных; над открытым окном мансарды трепыхалась занавеска белая.

Разгадочно-пугающе были думы, оттуда плывущие.

– Как так? Надя?

Сияния мечтанные слов, поцелуев, дум за ночь венцом вокруг Нади сестры свились. Сияния мечтанные, уже более года зародившиеся в душе и уготованные для той неведомой, которую встретит там в Петербурге скоро-скоро. В первый раз в университет идя, ее встретит. Мечты, сияющие бриллиантами завтрашнего дня. Сияния мечтанные в тусклости ненастоящего и смешного, и большого сегодня.

– Как так? Надя? Сестра?

Сквозь сине-стеклянную стену сна ночного разглядывает вчерашний вечер. Болтали про родную крепость, про весь зверинец. Весело было. Кикимора французская глазами хлопает – весело. Мироносицкого выговорить не может – весело. Учили долго. А она свое:

– Mironot... Mironot...

Так и порешили:

– Monsieur Mironot.

Еще веселее.

Вспоминает. Сквозь сине-стеклянную стену разглядывает вечер вчерашний, близкий и внезапно далекий. Склонилась Надя сестра лицом своим к его лицу. Смешное про кикимору рассказывала. Роман, что ли. Потом еще. И еще. Заморгал Виктор.

– Ба! Чужое лицо. Чужое!

Впервые видит. Три года. И не помнит, какая была в крепости. Бегала, болтала, плакала, потом заболела. И не вглядывался. Смотрит – новое лицо, невиданное. Взгляд умный; глубокий взгляд. А губы смешное говорить пытаются. А еще склонилась, смотрит он: лицо старое. Милое-милое и старое. Старостью болезни? Старостью дум? Старое-старое. Мысль тогда крылом взмахнула: «Это потому, что близко».

И еще взмахнула: «И я ведь старый уже...»

Усмешка кривая.

Тогда еще не ясно было. Оба смеялись. И смех свой, усталый уже, подхлестывали.

Но когда Надя ласково прогнала спать зевающую тайате – лекарство, пожалуйста, приготовьте, а я сейчас, – змеи тогда вокруг стола зашипели.

Не потому же ведь, что вдвоем остались брат с сестрой?

Шипели змеи очарования. Тихое, насмешливое Надя говорила что? С пола змеи поднялись, ангелами стали. Слушал тихое. Что? Что? Отлетело испуганно-стыдящееся веселье несущее

разное. Счастье – не счастье. Горе – не горе; большое нечто, гудящее, слов не говорящее, облаком вокруг них стоит, вокруг их стола. И отвечал. И спрашивал. И слушал, слушал.

«О чем же? О чем же мы вчера?..»

И лицо ее склонялось часто. И вот отклонилась она, Надя. Испуганно выглядывает из ущелья скал одиночества. И тогда к ней он склоняется. Его лицо к ее лицу. Старое лицо! Старое лицо! Не старостью старое, но старое мечтами о любимом.

– Обо мне?

Убиваемый далекостью оркестр чуть слышен был. Молчали, кажется.

– Это хорошо, что ты приехал. Скучно мне было.

– Нет! Не Надя это. Не Надя. Не сестра.

Говорила волхвованиями, говорила страстью неземною. Да так ли? Губки ее красные перед зубками прыгают. Не губки – уста, уста. Склонялись друг к другу лица незнакомые. Не знает брат сестры своей. Говорит что-то, но что-то иное, иное сказать хочет. И она тоже иное. И час ночной. И пора. Кто-то сказал:

– Прощай.

Кто-то еще сказал:

– Прощай. До завтра.

Кто-то сказал:

– Ну, поцелуемся.

Надя! Надя!

И вот глаза открылись в день. Смешливая игра лучей на вещах незнаемой комнаты. Бежать! Умылся, оделся, убежал. Вот и камни улицы под ногами. Солнце-то! Солнце-то! И шел-бежал. И насвистывал. Радует-ся-хохочет Солнце. Не хочет оно быть вечным ныне.

– Я юное.

Хохочет-радует-ся; прогнало ночных.

И бродил у моря. И видел больных, ползающих людей. И видел таких же, как он, праздных; и весело молчал про них.

– Шалопай!

И было весело, так как ночные ушли в пропасть. Белые дома, чужие люди. А море синее-синее. И никто не сказал; ничто не сказало:

– Лжешь.

Весело было создавать monsieur Mironot. Пятью франками подкупленный слуга шестого этажа, спешно во что-то переодетый, бормоча исковерканные слова, был представлен madame Jolie и хохочущей Наде. Хохочущей смехом забвенным. И отпущен был monsieur Mironot к очередным своим делам.

– Я его раз в день кикиморе показывать буду, минут на пять. Довольно с нее.

Глаза Надины, слова Надины раздумчивые в душе веселой Виктора птицами, тоску глаголящими, летают-кружат.

Вечернее очарование вчерашнее, сверканием солнца чужеземного далеко загнанное, вот перед вечером снова пришло-возвратилось, по-новому желанное. И оставались вдвоем. И чувлось нечто.

Понуждаемый улыбками веселыми сестры, болтал-рассказывал Виктор про тех, про далеких. И тешило их обоих то, что вот они, взрослые и свободные, настолько выше тех своих отцов далеких, что без гнева тешат себя беседами-баснями об их шутовских днях.

– Развод? Да никогда дядю Сему не разведут. Настасье невыгодно; адвокату, чем дольше, тем лучше, а этим всем свидетелям, лжесвидетелям, шпионам разным и подавно: на жалованьи. А чего бы, кажется! Перед отъездом покупал я несессер у Геца, помнишь, на Варварской; знает он меня. Узнаете, говорит, этот лорнет? За сезон, говорит, седьмой раз в починку приносят, и все разные офицеры. И все не старше поручика.

– Несчастный он, дядя Сема!

– Да уж сказано: умный человек, а дурак. Не раз на всю крепость комендант орал.

– А тетя Аня?

– Что им с Кузьмой делается! Кабачок свой исправно содержат. После дяди-Васиной смерти опять было хотели в Питер, наследство спускать. Дядя Сема, говорят, не пустил. Ну, в домишке своем сидят; ужины еще шикарнее задают. Комендант злится. Тайком я туда бегал зимой. Каждый день именины. Оркестр в пять человек за ужином. Каждый день новые гости. Кто из Питера, из Москвы на сутки, – у Шебаршиных на ужине. Актеры всей труппой валят. Все-таки весело в Шебаршинском кабачке. Нам бы в крепость малую толику народу оттуда.

– А в крепость кто теперь вхож?.. Сорви-ка мне, Витя, вон тот цветок белый. Достанешь ведь. Высокий ты какой...

И рванулся. И будто счастье тихое. И не захотелось балагурить, захотелось за плечи обнять ее, под деревья вон те увести, и шепотом молитвенным, то в глаза ее глядя, то в небо, шепотом молитвенным говорить ей долго-долго о новой тайне. Но оборвал через весь мир протянувшуюся струну. Чужим голосом веселым:

– В крепости? В крепости у нас теперь маловато. Только шутов пускают. Дьякон. Знаешь. Деткин, староввер. Знаешь. Полицеймейстер. Знаешь. Ну, тот для шуму. Нюнина, Ольга Ивановна. Ну, та родня. Еще... Да те же, что и при тебе. Стой, стой! Рейшук кузнец, кузницу беговую держит. Теперь он у нас в крепости постоянный гость. За русско-немецкий язык взят.

– Что такое?

– Говорит по-русски плоховато и занятно. За то полюблен. Да как! На неделе два раза не придет – шлют за ним эстафету. На охоте он был. Рассказывал: а волк, говорит, меня не узнал. Комендант, конечно, ха-ха-ха. С тех пор каждый раз про волка речь заводит и опять: ха-ха-ха и в ладоши бьет. А немец, черт его знает, не то понимает, не то нет: каждый раз с увлечением рассказывает. И много за чаем и за ужином русско-немецких рассказов.

Вспомнилось ли Наде тяжелое, домашнее, так ли взгрустнулось под вечер.

– Будет, Витя, про то. Про Лазарево лучше расскажи. Хорошо там теперь? Ведь я там только поздней осенью была. Хорошо, тихо, а парк и желтый, и красный, и зеленый. И вороны.

– Ну, ты Лазарева не узнаешь. Большой дом по старым чертежам отстроили. Теперь службы, конюшни. Все Знобишин. И денег туда идет, Надя... При мне раз было. Комендант, за голову руками взявшись, по зале бегал. Разорит меня, кричит, это проклятое Лазарево. И зачем взял я его. Ну тут, конечно, и Федору-покойнику с Вячеславом досталось. Потом успокоился. И пусть разорюсь, а до конца доведу!

Голос до шепота сбавил Виктор вдруг:

– Ты ведь не знаешь: дяде Вячеславу срок кончился. Манифест тут... Тоже крику в крепости немало было. Только никто не видал дядю Вячеслава. И где он теперь, не знают. Знают только, что из Сибири с поселенья ушел.

Помолчали, в предзакатно-томящиеся дали небесно-земные глядя. Не сговариваясь и стыдясь встреч взоров своих, гнали хитростями-придумками кикимору. И удалось. Рано ушла, укутав Надю платком шерстяным; ушла письма писать; пятнадцати своим amies⁴ бесконечные письма о бесконечной грусти по родному городку, о бесконечной любви своей и о бесконечной чистоте и невинности этой любви.

И долго под взорами чужой толпы, бездельем утомленной и обо всем переговорившей, молчали сестра с братом. И знойно жаждал Виктор пить восторги вчерашние, вино хмельное вечернее.

И невидимую дрожью биясь, не отходя, но отстраняясь, не выпускала души своей Надя из темного колодца молчания.

⁴ Подругам (фр.).

– Пойдем, Надя, в комнаты; сыро.
– Пойдем. Чай пить будем. Я от чая отвыкла здесь. Ты приехал – чаю захотелось. С вареньем.

Чуть засмеялась.

– Чай пить! Чай пить! А где будем чай пить? Не хочу я в столовой с немецкими дурами.

– Ко мне пойдем.

– Это чтоб кикимора мне в рот глядела! Не хочу с таким лимоном чай пить. Нет, вот что...

И будто на скаку конь споткнулся.

– Ко мне поднимемся.

Головку милую наклонив, короною дум ранних болезненных увенчанную, мгновенным острым взглядом и прямым брата обожгла.

– Пойдем. Да я еще и не была у тебя.

В тесной клетке лифта близко-близко. Молчал, на бледно-желтую щеку с румянцем круглым глядя зачарованно, себе немые загадки загадывая, безответные. Молчала, в пролёты свистящие глядя. Машиною в дома поднимаемая, страхом томима Надя всегда.

Под потолком, к окну круто убегающим, сидели у стола в мансардной комнатке, в веселой. Она на диванчике на маленьком, на красном. Близко он на стуле плетеном. Чай пили невкусный, перепрелый; про самовар вспоминали улыбочиво. Хотелось Виктору на Надин диванчик пересесть. Близко-близко, хорошо-хорошо. Слова тогда настоящие скажутся, лучше вчерашних еще. И не смел. И бранил себя. Сразу бы сесть. И с каждой новой секундой все крепче нехмел. Осенило. Встал. К окну подошел. Туда, в далекое смотрит. Отсюда к ней пойду. Легко и просто.

– Хорошая у тебя, Витя, комната какая. Вот у меня скучная. Обыкновенная.

– Да уж хоть тем хороша, что бацилл в ней поменее. Наверно, никто не умирал. Опасные ниже поселяются. Там у вас бацилл, поди, этих самых палочек, что клопов в деревне.

В даль законную вглядываясь, быстро так, даже злобно проговорил. Здоровая злоба здоровой юности. И опомнился. И похолодел. Оглянуться в комнату страшно и стыдно. А там за спиной его в комнате тихо. Будто нет Нади. Будто ушла давно. Секунды издевающиеся тучами пестрыми из ночи через стекло оконное летели туда в молчащую пропасть комнаты. Будто дверь скрипнула. Нет. Не похоже. А! И сорвался. И через пропасть бездонную кинулся к ней, как Каин Авелем убитым назад позванный.

И руки рыдающей целовал, на цветы ковра у ног ее опустившись. Руки белые, говорящие, с ноготками такими красивыми. Руки ни разу доныне не виданные. И говорил слова быстрые, шепотные, страдающие.

– Нет. Не она. Не сестра. Другая Надя.

И скоро успокоилась. И рук не отнимая, дождливо-солнечным лицом к нему склонилась.

– Ну, что ты, милый... Уж я смеюсь.

И на цветах ковра сидел, счастливый, вдруг смолкший. И мыслил сбивчиво: «Так ли ей сказать? По-новому, по-вчерашнему ли? Или так?»

О, какой весело-молодой был. Вчера еще лишь задорный мальчишка.

И сказал, улыбнувшись:

– Вот как мы пошутили!

Но близкие руки эти невиданные. Но лицо, солнцем дождь сгоняющее. Но глаза, неведомую ему тайну знающие. Первые женские глаза. И зашептал запоздавшим шепотом:

– Надя, Надя. Милая, милая. Как полюбил я тебя, Надя.

Послезакатный Эвр⁵ позвенел стеклами.

⁵ В греческой мифологии божество юго-восточного ветра.

Помолчала. Ответила раздумчиво, послеплачно:

– Ты ведь мой. Ты не ихний.

Вспоминала нелепое детство; страшные годы пробуждения, ночные голоса, ночные видения.

А он, юной веселостью недавнею смелый, сегодняшним новым испуганный, вчерашнее возрождает, вечернее.

«И пусть оно, вчерашнее, ныне расцветет уже».

И сказал:

– А ты меня полюбила?

– Кого же мне любить здесь? Вот я рада. Ты теперь хороший.

И ревностью ли, чувством незнакомым, гордостью ли оттуда, оттуда, издалека идущей, сказал:

– Меня, говоришь, любишь? Не меня любишь. От зверинца от нашего отвыкла. Любить тебе охота теперь. Три года ты без зверинца. Три года. Я вот немного дней, и то как новый. В Лазареве по летам отдыхал, правда. Да все же не то. Незримо – ха-ха – комендант всюду. Лошади да стройка. Стройка да лошади. А то сам нагрывает. Все вверх дном. А ты три года. Сердце у тебя стало человеческое. Всех ты любишь. Вот и кикимору любишь. Ну, и меня любишь.

Хлестал себя словами больно.

– Что говоришь? Ведь брат ты мне.

– А! Брат! Так ты меня так же, как Яшку, любишь?

Губу прикусила. Брат от нее чуть отклонился, с цветов ковра не поднимаясь.

– Да не то совсем. Я тебя и там, и в крепости, больше тех любила. Помнишь, из комнаты твоей меня Эмма гоняла.

– Что крепость! Другая ты теперь. Новая ты совсем. Ведь не узнал тебя. Не узнал, а как будто нашел. Нашел чужую и полюбил. А ты не любишь...

Шепотом обрывающимся договорил. И руки свои опять с ее руками милыми слил, душе прошептав:

– Отдохни.

– Витя, Витя! Зачем? Ведь говоришь и сам не веришь. Ну, пойдешь сюда, глупенький. Давай поцелуемся.

И тихо-радостно Виктору и будто обидно: очень уж просто и не стыдась сказала. И хотел было лицо к лицу ее милому, к склоняющемуся, не приближать, а так же вот у ног сидеть, и говорить-упрекать-жаловаться ласково. Но губы губ коснулись. И так поначалу обычно. Брат с сестрой поцеловались. Но вот поцелуй не обрывается. Голова Викторова на коленях сестры успокоенно-трепетно глаза закрыла, губами губ Надиных касаясь. Склоненная тихая Надя, алость губ проснувшихся губами сухими горячими чуя, сквозь веки опущенные сказку красную видит бездумно. И недвижно длят. И молча плывут по неизведанному. И боятся мыслить о конце мгновения.

И уже задыхались короткими дыханиями, и уже дрожали губы.

И потом, друг в друга глядя задумчиво и не стыдась, меж долгими молчаниями просто-тою и любовностию говорили.

– ...Хорошо с тобой.

– ...Будем любить друг друга всегда.

– ...Да. Всегда.

– ...И не вернусь я больше в крепость, Надя. И в университет в этом году не поеду. С тобой здесь останусь. Год – куда ни шло.

– А что там скажут?

– Ну их! И не говори. Знаешь, не будем о зверинце никогда говорить. От этих разговоров душа как конюшня делается. Или как кабак. Или как черт знает что.

– Конечно. Только, как же ты здесь останешься? Да тебе просто денег не вышлют больше. Или забыл?

– Молчи. Не все же деньги. За его гроши в пояс ему кланяться! Мне с Яшкой по семьдесят пять рублей в месяц определил. Тоже не миллионы. Зарабатывают же люди как-нибудь. И я зарабатывать буду. И пошлю я завтра в крепость письмо: «Убирайтесь вы все к черту. Виктор». Вот весело-то будет! Нет: Лучше телеграмму. А Зиночке письмо. Или Антоше. Велим им про все отписать, какой шум-гам в крепости подымется. Вот весело! Вот весело будет! Посмеемся мы с тобой.

– Смешной ты. Не будем, говоришь, про зверинец вспоминать. А сам про зверинец только и думаешь. Только и говоришь. А потом, как же здесь зарабатывать будешь? Гидом, что ли, заделаешься? А, впрочем, мы с тобой поделимся. Я с Жолишкой в другой номер перейду. Повыше, где бацилл меньше. Здесь. Рядом. Или Жолишку совсем прогоним. Нам и хватит. Только ведь, когда в крепости про то узнают, сократят они нас как-нибудь. Комендант скажет...

– Верно. Верно. Дурак я. Только знаешь: скоро у нас деньги будут. Совсем скоро. И у тебя, и у меня. И у всех нас.

– Какие деньги?

– По двадцать тысяч.

– Откуда?

– Не хочу я. Не могу я говорить. Только совсем скоро.

– В чем дело?

– И не проси. Я и не хочу, чтоб они, те деньги, скоро были. Ничуть не хочу, чтоб скорее. Только будут. Уж верь и не спрашивай. И не придется мне гидом быть. Только – не спрашивай.

– Ну, секрет так секрет. И у меня, говоришь, будут?

– И у тебя.

– Двадцать тысяч?

– Двадцать тысяч.

– Что же мне на них купить?

Смеется Надя.

– А мы на них жить будем. И ты от комендантовых денег откажись; телеграмма такая, значит, будет: «Убирайтесь вы все к черту. Виктор. Надежда».

– Ха-ха! Виктор, не смеши Надежду. Ей вредно. Закашляется.

– И будем мы, Надя, на те деньги жить-поживать вместе, без Жолишки, конечно. Или пусть Жолишка. Мы ее в экономки разжалуем. Тебе в Россию зимой нельзя. Я за полгода французский подучу. В детстве ведь я на нем, как на родном, болтал. Подучу, и в парижский университет. Тебе в Париж можно?

– Ну, нет. Не моя зима.

– В Париж нельзя – другой город найдем. На то география. Ведь не клином же свет сошелся в этой курортной дыре. А про крепость и про весь зверинец ты правду сказала. И думать не хочу, а думается. Так и сверлит... Так и сверлит... Да. Про деньги про те. Правда, есть тут загвоздка одна. Годы наши малость не подходят. Ну, да я узнавал. Трудно, убыточно. Но не безвыходно.

– Что ты городишь?

– Не спрашивай! Не спрашивай!

Руками затряс, рук ее милых из своих не выпуская.

И посмеялись. И помечтали. И хотелось опять и опять так поцеловаться. Но духи крепости далекой под косым потолком в тучу сбились. Но смех, словами шутивными порожденный, тут же, над ними, над братом с сестрой порхает, смотрит.

Попробовал Виктор после молчания мгновенного. Чужим голосом сказал:

– Давай, по...

И кашлянул сухо. И другим, но все же чужим голосом, заглянув в угол, закончил:
– Давай, поглядим в окно.

Руки ее отпустив, поднялся-встал. К окну подошел. Занавеску отвел. Подошла тихо. Ночь лунная, дома белые в сказочном, в лунном глазах их показывает. И море сине-черное, серебристым столбом вибрирующим разрезанное. И берег моря так искусственно прямой для чего-то. И вечные там постройки, ненужно прельщающие, зазывающие однодневок.

– Конфетно здесь у тебя. Жизни нет. Декорация для богатых. Вон там, смотри, шалопаи белые на скамейке сидят, сигары курят. Красиво, но зря все. Вот у нас в Лазареве вокруг огорода бронзовую решетку этим летом поставили. Пока фундамент выродили, все эти там артишоки, да огурцы и что там еще – все повяло. Захламили. Садовник плачет. Не нужно, говорит. К чему? И дальше, говорит, ничего не вырастет. Под бронзой фундаментище вон какой. Солнцу доступа нет. Коменданту отписали. Не суйтесь, отвечает, не в свои дела; Знобишин лучше знает; да и я тоже; а в огороде чтоб росло все, что полагается. На то вам журнал выписан. То же и здесь. Все для виду. Будто для людей, как там стена для огурцов, а не для людей.

– А для кого же? А ты правду сказал...

– А черт их знает, для кого. Только не так все. Настоящего нет. Эта вся чепуха с беседами...

И как же обрадовался Виктор, что молча, себе лишь договорил, что вся эта чепуха с беседами только умирающим нужна.

И страхась правды, из прорех счастья высывающейся:

– Надя! Надя!

Закричал.

– Живи ты только! Живи ты! И все будет. И все как нужно будет, Надя.

И слов тех, могущих напугать, испугался. Как так? С ней нежно нужно, с ней тихо.

– Витя, прощай. Давно мне пора. До завтра.

– Кикимора опять?

– Нет. Не только кикимора.

И влекомые брат к сестре, сестра к брату, поцеловались. И поцеловались у окна стоя, у ночного. И опять долг был поцелуй – сто поцелуев. Но не смели руки. И потом не смели слова.

И ушла. И не провожал. И видели, слышали до утра сны свои.

III

Седой лунь, прозорливец хищный, в тучах-облаках, редко по-зимнему темных, место себе выискал. Над Волгой над декабрьской, над белой, сидит, когти в тучу – в облако вонзив. Сидит-высматривает. Бело все. Каждого мужичка черного легко оттуда увидеть, по льду тропой идущего.

Смотрит лунь белый, облачный. Высматривает.

Вон на верху горы дома разные. Много домов. Все крыши под снегом, все крыши белые. Одна крыша черна, и над чернотой своей золотом вершин своих говорит-кричит:

– Кто равен мне?

Ежедневно с крыши Макарова дома снег скидывают. А в дни пурги к фасаду лестницы подставляют, с кариатид, с карнизов снег метелками счищают.

Декабрь. Рождество скоро. Из Петербурга на праздники студент Яша приехал домой. Первокурсник. В пути веселый был и важный. Не мальчишка. Взрослым ровня. Не так оно устроилось в Петербурге, как хотел: одному жить не позволили. Ну, да все же будто на свободе пожил.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.